

“И чувства жар, и мыслей свет...”

О лирике А.И. Одоевского

А. М. БЕЛОШИН

*Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья...
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.*

М.Ю. Лермонтов
“Памяти А.И. Одоевского”.

8 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802–1839 гг.), поэта декабристской каторги, вошедшего в историю русской литературы своим стихотворением “Струн вещей пламенные звуки...” – ответом на знаменитое пушкинское “Послание в Сибирь”.

А.И. Одоевский принадлежал к старинному роду удельных князей Черниговских, он мог бы сделать блестящую карьеру, был близким другом А.С. Грибоедова, поэтов А.А. Бестужева, К.Ф. Рылеева. Но с 1825 года он становится активным членом радикального крыла Северного общества декабристов. За день до восстания, на собрании у Рылеева, по свидетельству В.И. Штейнгейля, он восклицал: “Умрем! Ах, как славно мы умрем!”. На Сенатской площади Одоевский командовал взводом лейб-гвардейского Московского полка, успешно агитировал других присоединиться к восставшим (см.: Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988). После поражения восстания осужден на каторжные работы, в 1832 г. из Читинского острога был переведен на поселение, лишившись возможности общения с друзьями. Только в июле 1837 г. был зачислен рядовым в Кавказский отдельный корпус, в ноябре – в Нижегородский драгунский полк, где познакомился и сдружился с Лермонтовым, бывал в Пятигорске и Железноводске. Получив известие о смерти отца в 1839 г., он писал: “Все кончено для меня. (...) чувствую, что не принадлежу к этому миру (Одоевский А.И. Полн. собр. стихотворений и писем. М.–Л., 1934. С. 331–332). Действительно, вскоре поэт умирает от малярии. По воспоминаниям Н.А. Загорецкого, Одоевский “приписывал свою бо-

лезнь тому, что накануне он начитался Шиллера в подлиннике, на сквозном ветру через поднятые полы палатки” (Там же. С. 100).

Стихотворения Одоевского – яркий образец романтической поэзии. Она насыщена “словами-сигналами” из лексикона проникнутой гражданским пафосом лирики декабристов: “души высокое желанье”, “кровавая порфира”, “пора начать святую битву” и т.п. Однако в этом лексиконе можно обнаружить явное пристрастие поэта к некоторым мотивам, символическим образам, определяющим особенности его поэтики.

Свое психологическое ощущение изгнанника Одоевский выражал во многих стихотворениях, но это внутреннее состояние его души было обусловлено вынужденными обстоятельствами его жизни. Поэт страдает от контраста воли и темницы, передавая свое желание вырваться на свободу в форме живой разговорной речи в стихотворении “Утро”:

Рассвело, щебечут птицы
Под окном моей темницы;
Как на воле любо им!..
Выйду ли на воздух чистый –
Я, как дышат им, забыл.

Душу свою поэт называет узницей, и сетования его на скуку жизни возвышаются до философского обобщения:

Как много сильных впечатлений
Еще душе недостает!
В тюрьме минула жизнь мгновений,
И медлен, и тяжел полет
Души моей, не обновленной
Явлений новых красотой
И дней темничных чередой,
Без снов любимых, усыпленной.
{...}
Однообразна жизнь моя,
Как океана бесконечность.

Состояние заточения вызывает у поэта мрачные ассоциации: “Недвижимы, как мертвые в гробах...”; “И в гробе заживо лежал”; “И порывался в мир душой, но порывался из могилы”. Образ безымянной могилы характерен для лирики Одоевского: “Пожрала их нещадная могила, И стерлись надписи слова”; “Как тени, исчезают лица В тебе, обширная гробница”.

Только человеческая память способна противостоять забвению: “И только в памяти, как на плитах могилы, Два имени горят”; “У нас

в сердца их (повешенных декабристов. – *А.Б.*) врезаны черты, Как имена в надгробный камень”; “Тебя ли не помнить? Пока я дышу, тебя и погибшей вовек не забуду”; “И вспомню я сквозь сон всю мира красоту”.

Мотив сна настойчиво возникает во многих стихотворениях Одоевского: “Почтите сон его священный, Как пред борьбою сон борца”; “Снов небесных кистью смелой Одушевить я не успел”; “Но их взаимно-сладкий сон (свидание с матерью. – *А.Б.*) Едва приснился им (...) И, не докончив сновиденья, Уже он кончил жизни путь”; “Как струны задрожат все жизненные силы”; “Но их (чувства. – *А.Б.*) объял еще не вечный сон, Еще струна издаст бывалый звон”. Сон у Одоевского – это и воплощение сентенции “жизнь есть сон”, и эвфемизм смерти – “вечный сон”, и сон небесный, противостоящий земному прозябанию.

Излюбленный метафорический ряд у поэта – *струны души, струны чувств, струны поэзии*: “Струн вещей пламенные звуки”; “И вздрогнули в сердцах живые струны”; “ропот струн”.

Поэзия Одоевского исповедальна. О чем бы и о ком бы он ни писал, он говорил о себе. Так, стихотворение на смерть Д.В. Веневитинова “Умирающий художник” Одоевский, по словам А.Е. Розена, “как будто написал для себя” (Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 367). Оно даже написано он первого лица: “И не успел я в стройный звук Излить красу и стройность мира”.

В стихотворении, посвященном сыну декабриста Розена, поэт говорит “о неприютности моей”, в стихотворении, посвященном ссыльному декабристу П.П. Коновницину, поэт, в сущности, повествует о своих сыновних чувствах: “Прижать к устам уста и руки Любимой матери своей, – вот были все его желанья”. Мотив сиротства автобиографичен в лирике поэта: его горячо любимая мать умерла, когда ему было 18 лет. Он посвятил ей стихотворение “Тебя уж нет, но я тобою еще дышу...”. Столь же горячо поэт любил своего отца:

Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный...
Везде мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.

Здесь снова появляются мотивы узничества, одиночества, сиротства:

Как недвижны волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемую гранью!
За ними – полный жизни мир,
А здесь – я один и сир,
Отдал всю жизнь воспоминанью.

Эти мотивы звучат и в других стихотворениях:

Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою, –
А встречусь – забьется в груди ретивое,
Как лист запоздалый на ветке.

Хотел бы – как небо в глубь синего моря,
Смотреть и смотреть тебе в очи,
Приветливой речи, как песни родимой,
В изгнании хотел бы послушать!

Но света в пространстве падучей звездой
Мелькнешь, ненаглядная, мимо, –
И снова не видно, и снова тоскую,
Усталой душой сиротея...

Нетрудно заметить в этом стихотворении 1838 г. перекличку с лермонтовскими образами: “листок оторвался от ветки родимой”, “тучки небесные, вечные странники”, “как в ночь звезды падучей пламень, не нужен в мире я”. Но состояние одиночества, органически присущее Лермонтову, было чуждо Одоевскому, он стремился преодолеть его – хотя бы в мыслях: “Тихо плавай надо мной, Плавай, друг мой неотлетный!” – обращается он к воображаемой возлюбленной. В “Элегии на смерть Грибоедова”, которого Одоевский очень ценил и любил, он горестно восклицает: “Он и погиб и погребен; А я – в темнице! Из-за стень напрасно рвуся я мечтами...”

Поэту остается надеяться на встречу с родными и близкими людьми только в мире ином, в существование которого поэт свято верил: “Как облако плывет в иной, прекрасный мир И тает, просияв вечернею зарею, Так полечу и я, растаю весь в эфир И обовью тебя воздушной пеленою”.

Романтическое двоемирие в лирике поэта, уход в мир мечты был вынужденным, как и его одиночество: “Что год, что день, то связи рвутся...”; “Ты знаешь их, кого я так любил”, – горестно писал он о своих ушедших друзьях.

Заточение, уединение развили религиозные чувства Одоевского. Николай Павлович Огарев, познакомившийся с ним в 1838 году, вспоминал о нем как о глубоко религиозном человеке, поэте “христианской мысли, вне всякой церкви” (Огарев Н.П. Избр. произв. Т. 2. М., 1956. С. 313). “Я тихо пел пути живого бога И всей душой его благодарил, Как ни темна была моя дорога, Как ни терял я свежесть юных сил”, – свидетельствует и сам поэт.

Утешала Одоевского неизменная вера “в иной, прекрасный мир”: “И все, что было здесь так дико и нестройно, Что на земле, сливаясь

в смутный сон, Земною жизнью зовется, – сольется в сладкий звук, в небесно-ясный звон, В созвучие любви божественной сольется”.

Несмотря на то, что многие его стихотворения проникнуты глубокой печалью, они неизменно просветлены религиозным чувством. Не случайно в лирике Одоевского так часто возникает мотив света в различных его вариациях: *светлый, просветлею, светозарный, просвещенный*. Приведем примеры этих словоупотреблений: “И я просветлею, чело вознесу”; “из света в заточенье Любимый голос доходил”; “Светит без тени”; “И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя”; “Божий свет”; “И свет во взорах потемнел”; “Свет-душа”; “Светились сквозь печали”; “Был ответ образов, светивших мне с небес”; “В светлой любви”.

Проявление света – *луч*. Луч свободы: “Несчастливых жертв, проливших луч святой В спасенье русскому народу”. Луч надежды: “Улетел надежд блеснувших Лучезарный хоровод”; “И зажгут лучом своим Дум высоких вдохновенье”. Луч небесный: “Луч радостный, на небе том рожденный”.

Любимый образ Одоевского – *пламя*. Пророчество “Из искры возгорится пламя” обессмертило его имя в истории. Образ пламени появляется и в этом стихотворении еще два раза: “И пламя вновь зажжем свободы”, “Струн вещих пламенные звуки”. Семантический ряд: *пламя – огонь – жар – искры* возникает у Одоевского неоднократно. Это “Небесный огонь”; “огнь воображенья”; “огнь несбыточных желаний”. *Огонь (огнь)* и *пламя* у Одоевского рядом. Например, это огонь мщениия и жертвенный пламень: “Лишь вспыхнет огонь во глубине сердец, Пять жертв встанут пред нами; как венец, Вкруг выи вьется синий пламень”. Поэт сокрушается, что “в чистый пламень огня души я не излил”; “Минула жизнь без потрясений, огонь без пламени погас”. Он развивает метафору *огонь надежд*: “Но от надежд, как от огня, остались только – дым и тленье”.

Образ *искры* в поэтике Одоевского несет революционный пафос в его знаменитой фразе: “Из искры возгорится пламя”. До нее было: “Таится звук в безмолвной лире, как искра в темных облаках; И песнь, незнаемую в мире, Я вылью в огненных словах”. Он разрабатывал этот образ и потом: “Что искрилось в душе, что из души теснилось, – Все было их огнем! их луч меня живил”.

Часто соседствуют у Одоевского его любимые образы – *пламя* и *свет*: “Следил их мирный свет и жаждал их огня”; “Заветных образов небесный огонь и свет”; “И чувства жар, и мыслей свет”.

Исследователи давно обратили внимание на близость поэтики Одоевского и Лермонтова: “Весь образный строй стихотворений Одоевского, тяготеющий к символической и семантической многоплановости, разнообразию и новизне метрики, явился предвестием лермонтовского начала в русской романтической поэзии (...) Элегиям Одоевского

свойственно то созвучие личного и гражданского переживания, которое характерно для поэзии Лермонтова” (Краткая литературная энциклопедия. Том 5. М., 1968. С. 395).

Некоторые образы Одоевского послужили, нередко в переосмысленном виде, источником вдохновения для Лермонтова. Так, стихотворение “Ты знаешь их, кого я так любил” содержит образы, возникшие в совершенно иной роли в лермонтовском стихотворении “Три пальмы”:

Так путники идут на богомолье
Сквозь огненно-песчаный океан,
И пальмы тень, студеных вод приволье
Манят их в даль... лишь сладостный обман
Чарует их; но их бодрят силы,
И далее проходит караван,
Забыв про зной пылающей могилы.

Многообразные соответствия, вплоть до дословных, можно найти, сравнивая “Элегию” Одоевского с “Думой” Лермонтова. “Что вы печальны, дети снов...” – начало “Элегии” Одоевского. “Печально я гляжу на наше поколение” – у Лермонтова. Приведем некоторые примеры, сопоставляя строки поэтов: “Следов нигде не оставляя” – “Над миром мы пройдем без шума и следа”; “Едва мелькая, Едва касаяся земли” – “Едва касались мы до чаши наслажденья”; “Где скудно сердца наслажденье И скорби с радостью смешенье Томит, как похоронный пир... И до могилы жизни бремя, Как дар без цели, донесут” – “И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом”; “И безотчетною стопою, Пути взметая легкий прах, следов не врезали в границе И не оставили в сердцах. Зачем же вы назад глядите На путь пройденный? Нет для вас ни горьких дум, ни утешений” – “И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад”; “И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою...”

В отличие от Лермонтова, Одоевскому свойствен исторический оптимизм, вера в светлые идеалы свободы, в торжество разума: его “Элегия” заканчивается утверждением: “Но со ступени на ступень века возводят человека”. Эта вера соединялась в его поэзии с верой в “красу и стройность вечных дел, Господних дел, грядущих к высшей цели”. В образности лирики Одоевского отразилась его возвышенная натура и любящее сердце. Его из пламени и света рожденное слово вдохновляло Лермонтова, было источником утешения и надежды.

В стихотворении “Памяти А.И. Одоевского” Лермонтов создал глубоко созвучный, духовно близкий себе самому образ поэта-романтика высокой души, каким был А.И. Одоевский.

“На зеркало неча пенять...”

Смысл эпиграфа и “немой сцены” в комедии
Н.В. Гоголя “Ревизор”

*В. А. ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук*

“Ревизор” – лучшая русская комедия. И в чтении, и в постановке на сцене она всегда интересна. Поэтому вообще трудно говорить о каком бы то ни было провале “Ревизора”. Но, с другой стороны, трудно и создать настоящий гоголевский спектакль, заставить сидящих в зале смеяться горьким гоголевским смехом. Как правило, от актера или зрителя ускользает что-то фундаментальное, глубинное, на чем зиждется весь смысл пьесы.

Премьера комедии, состоявшаяся 19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра в Петербурге, по свидетельству современников, имела колоссальный успех. Городничего играл Иван Сосницкий, Хлестакова – Николай Дюр, лучшие актеры того времени. “Общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора (...) – вспоминал князь Петр Андреевич Вяземский, – ни в чем не было недостатка” (Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 143).

В то же время даже самые горячие поклонники Гоголя не вполне поняли смысл и значение комедии; большинство же публики восприняло ее как фарс. Многие видели в пьесе карикатуру на российское чиновничество, а в ее авторе – бунтовщика. По словам С.Т. Аксакова, были люди, которые возненавидели Гоголя с момента появления “Ревизора”. Так, граф Ф.И. Толстой (по прозвищу Американец) говорил в многолюдном собрании, что Гоголь – “враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь” (Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 122). Цензор А.В. Никитенко записал в своем дневнике 28 апреля 1836 года: «Комедия Гоголя “Ревизор” наделала много шума. (...) Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается» (Никитенко А.В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 182).

Между тем достоверно известно, что комедия была дозволена к постановке на сцене (а следовательно, и к печати) по высочайшему разрешению. Император Николай I прочел комедию в рукописи и одобрил. 29 апреля 1836 года Гоголь писал М. Щепкину: “Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Госу-

дарь Император не только сам присутствовал на премьере, но велел и министрам смотреть “Ревизора”. Во время представления он хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: “Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!” (запись П.П. Каратыгина со слов своего отца, актера П.А. Каратыгина. Исторический Вестник. 1883. № 9. С. 736).

Разительным контрастом, казалось бы, несомненному успеху пьесы звучит горькое признание Гоголя: «“Ревизор” сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору»).

Гоголь был, кажется, единственным, кто воспринял первую постановку “Ревизора” как провал. Что же не удовлетворило его? Отчасти здесь сказалось несоответствие старых водевильных приемов в оформлении спектакля совершенно новому духу пьесы, не укладывавшейся в рамки обычной комедии. Гоголь настойчиво предупреждал: “Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях”. («Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”»).

Создавая образы Бобчинского и Добчинского, Гоголь воображал их “в коже” (по его выражению) Щепкина и Василия Рязанцева – известных комических актеров той эпохи. В спектакле же “вышла именно карикатура”: “Уже пред началом представления, – делится он своими впечатлениями, – увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенные, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, включенные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо”.

Между тем главная установка Гоголя – полная естественность характеров и правдоподобие происходящего на сцене: “Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии”.

Почему же – спросим еще раз – Гоголь остался недоволен премьерой? Главная причина заключалась даже не в фарсовом характере спектакля – стремлении рассмешить публику, а в том, что при карикатурной манере игры актеров сидящие в зале воспринимали происходящее на сцене без применения к себе, так как персонажи были утрированно смешны. Между тем замысел Гоголя был рассчитан как раз на противоположное восприятие: вовлечь зрителя в спектакль, дать

почувствовать, что город, обозначенный в комедии, существует не где-то, но в той или иной мере в любом месте России, а страсти и пороки чиновников есть в душе каждого из нас. Гоголь обращается ко всем и каждому. В этом и заключается громадное общественное значение “Ревизора”. В этом и смысл знаменитой реплики Городничего: “Чему смеетесь? Над собой смеетесь!” – обращенной к залу (именно к залу, так как на сцене в это время никто не смеется). На это указывает и эпиграф: “На зеркало неча пенять, коли рожа крива”. В своеобразных театрализованных комментариях к пьесе – “Театральный разъезд” и “Развязка Ревизора”, – где зрители и актеры обсуждают комедию, Гоголь словно стремится разрушить невидимую стену, разделяющую сцену и зрительный зал.

Относительно эпиграфа, появившегося позднее, в издании 1842 года, скажем, что эта народная поговорка разумеет под зеркалом Евангелие, о чем современники Гоголя, духовно принадлежавшие к православной церкви, прекрасно знали и даже могли бы подкрепить понимание этой поговорки, например, знаменитой басней Крылова “Зеркало и Обезьяна”. Здесь Обезьяна, глядясь в зеркало, обращается к Медведю:

“Смотри-ка, – говорит, – кум милый мой!
 Что это там за рожа?
 Какие у нее ужимки и прыжки!
 Я удавилась бы с тоски,
 Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
 А ведь, признайся, есть
 Из кумушек моих таких кривляк пять–шесть;
 Я даже их могу по пальцам перечесть”. –
 “Чем кумушек считать трудиться.
 Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?” –
 Ей Мишка отвечал.
 Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно существует в православном сознании. Так, например, святитель Тихон Задонский, один из любимых писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно, говорит: “Христианине! что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и исправляют тело свое и пороки на лице очищают. (...) Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зеркало и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?” (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. М., 1889. Т. 4. С. 145. / Репринтное издание. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский в дневниках, изданных под названием “Моя жизнь во Христе”, замечает “нечитающим Евангелия”:

“Чисты ли вы, святы ли и совершенны, не читая Евангелия, и Вам не надо смотреть в это зеркало? Или вы очень безобразны душевно и боитесь вашего безобразия?...” (Полн. собр. соч. протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. СПб., 1893. Т. 5. С. 380. / Репринтное издание. СПб., 1994).

В выписках Гоголя из святых отцов и учителей Церкви находим запись: “Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей” (Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 529; далее – только том и стр).

Примечательно, что и в своих письмах Гоголь обращался к этому образу. Так, 20 декабря (н.ст.) 1844 года он писал М.П. Погодину из Франкфурта: “...держи всегда у себя на столе книгу, которая бы тебе служила духовным зеркалом”; а спустя неделю – А.О. Смирновой: “Взгляните также на самих себя. Имейте для этого на столе духовное зеркало, то есть какую-нибудь книгу, в которую может смотреть ваша душа...”.

Известно, что Гоголь никогда не расставался с Евангелием. “Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии, – говорил он. – Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось” (6, 383).

В “Развязке Ревизора” Гоголь вкладывает в уста Первому комическому актеру мысль о том, что будет с человеком в день Страшного суда: «...взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед которыми и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас духу спросить: “Да разве у меня рожа крива?”». Здесь Гоголь отвечает многим, и в частности, писателю Михаилу Николаевичу Загоскину, который особенно негодовал против эпитафия, говоря при этом: “Да где же у меня рожа крива?”.

Невозможно, конечно, создать какое-то иное “зеркало”, подобное Евангелию. Но как всякий христианин обязан жить по Евангельским заповедям, подражая Христу (по мере своих человеческих сил), так и Гоголь-драматург в меру своего таланта устраивает на сцене свое зеркало, – то есть нравственный смысл пьесы. Крыловской обезьянкой мог бы оказаться любой из зрителей. Однако получилось так, что этот зритель увидел в героях пьесы других, а не себя. О том же позднее говорил Гоголь в обращении к читателям в “Мертвых душах”: «Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора (...) И вы прибавите: “А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!”. А кто из вас, полный христианского смирения (...) углубит вовнутрь собственной души сей тяжкий запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?” Да, как бы не так!».

Реплика Городничего, появившаяся, как и эпитаф, в 1842 году, также имеет свою параллель в “Мертвых душах”. В десятой главе, размы-

шляя об ошибках и заблуждениях всего человечества, автор замечает: “Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что (...) отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на текущее поколение, но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки”.

Главная идея “Ревизора” – мысль о неизбежном духовном возмездии, которого должен ожидать каждый человек. Гоголь, недовольный тем, как ставится “Ревизор” на сцене и как воспринимают его зрители, попытался эту идею раскрыть в “Развязке Ревизора”. “Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! – говорит Гоголь устами Первого комического актера. – Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России (...) Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас? (...) Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет у нас дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшное, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее”.

Речь здесь идет о Страшном суде. И теперь становится понятной заключительная сцена “Ревизора”. Она есть символическая картина именно Страшного суда. Появление жандарма, извещающего о прибытии из Петербурга “по именному повелению” ревизора уже настоящего, действует ошеломляюще на героев пьесы. Гоголь подчеркивает это в ремарке: “Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменявши положение, остается в окаменении”.

Писатель придавал исключительное значение этой “немой сцене”. Продолжительность ее он определяет в полторы минуты, а в “Отрывке из письма...” говорит даже о двух-трех минутах “окаменения” героев. Каждый из персонажей всей фигурой как бы показывает, что он уже ничего не может изменить в своей судьбе, шевельнуть хотя бы пальцем, – он перед Судией. По замыслу Гоголя, в этот момент в зале должна наступить тишина всеобщего размышления.

В “Развязке” он предложил не новое толкование “Ревизора”, как иногда думают, а лишь обнажил его главную мысль. 2 ноября (н.ст.) 1846 года Гоголь писал Ивану Сосницкому из Ниццы: «Обратите ваше внимание на последнюю сцену “Ревизора”. Обдумайте, обмыслите вновь. Из заключительной пьесы “Развязка Ревизора” вы постигнете, почему я так хлопочу об этой последней сцене и почему мне так важно, чтобы она имела полный эффект. Я уверен, что вы взглянете сами другими

глазами на “Ревизора” после этого заключения, которого мне, по многим причинам, нельзя было тогда выдать и только теперь возможно».

Из этих слов следует, что “Развязка” не придавала нового значения “немой сцене”, но лишь разъясняла ее смысл. Действительно, в пору создания “Ревизора” в “Петербургских записках 1836 года” появляются у Гоголя строки, прямо предвещающие “Развязку”: «Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос “Стой, христианин, оглянись на жизнь свою”».

Однако данное Гоголем истолкование уездного города как “душешного города”, а его чиновников как воплощения бесчинствующих в нем страстей, сделанное в духе святоотеческой традиции, явилось неожиданностью для современников и вызвало неприятие. Щепкин, которому предназначалась роль Первого комического актера, прочитав новую пьесу, отказался играть в ней. 22 мая 1847 года он писал Гоголю: «...до сих пор я изучал всех героев “Ревизора” как живых людей... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти, нет, я не хочу такой переделки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился (...) Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня» (Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 469).

Между тем гоголевское намерение вовсе не предполагало того, чтобы сделать из “живых людей” – полнокровных художественных образов – некую аллегорию. Автор только обнажил главную мысль комедии, без которой она выглядит как простое обличение нравов. «“Ревизор” – “Ревизором”, – отвечал Гоголь Щепкину около 10 июля (н.ст.) 1847 года, – а примененье к самому себе есть непременно вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не “Ревизора”, но которое приличней ему сделать по поводу “Ревизора”».

Во второй редакции окончания “Развязки” Гоголь разъясняет свою мысль. Здесь Первый комический актер так отвечает одному из сомневающимся героев, что предложенная трактовка пьесы соответствует авторскому замыслу: “Автор, если даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная нравоучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле (...) Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя – и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего. Вот что он должен был сделать. А это уж наше дело выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети. Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал на то, которое вам теперь рассказал”.

И далее на вопросы окружающих, почему только он один вывел столь отдаленное, по их понятиям, нравоучение, Первый комический

актер отвечает: “Во-первых, почему вы знаете, что это нравоученье вывел один я? А во-вторых, почему вы считаете его отдаленным? Я думаю, напротив, ближе всего к нам собственная наша душа. Я имел тогда в уме душу свою, думал о себе самом, потому и вывел это нравоученье. Если бы и другие имели в виду прежде себя, вероятно, и они вывели бы то же самое нравоученье, какое вывел и я. Но разве всяк из нас приступает к произведению писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоученья для других, а не для себя. Мы готовы ратовать и защищать все общество, дорожа заботливо нравственностью других и позабывши о своей. Ведь посмеяться мы любим над другими, а не над собой...”.

Нельзя не заметить, что эти размышления главного действующего лица “Развязки” не только не противоречат содержанию “Ревизора”, но в точности соответствуют ему. Более того, высказанные здесь мысли органичны для всего творчества Гоголя.

Идея Страшного суда должна была получить развитие и в “Мертвых душах”, так как она вытекает из замысла произведения. Один из черновых набросков, относящийся к неосуществленному продолжению поэмы, прямо рисует картину Страшного суда: “Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу, что Я твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды и вниманья, и поощренья? Какое бы тогда было тебе дело обращать внимание, как издержит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? Кто знает, чем бы кончилось, если бы ты до конца дошел, не устранившись? Ты бы удивил величием, если бы до конца дошел, не устранившись? Ты бы удивил величием характера, ты бы наконец взял верх и заставил изумиться, ты бы оставил имя, как вечный памятник доблести, и роняли бы ручьи слез, потоки слезные о тебе, и как вихорь ты бы разведал в сердцах пламень добра”. Потупил голову, устыдившись, управитель, и не знал, куды ему деться. И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы” (5, 462).

Гоголь использует здесь один из святоотеческих учительных приемов, заключающийся в том, что пастырь, напоминая в своей речи те или иные заповеди, передает их от первого лица, и они исходят как бы из уст Самого Бога. Такие примеры Гоголь мог встречать хотя бы в публикациях журнала “Христианское Чтение”.

В заключение скажем, что тема Страшного суда пронизывает все творчество Гоголя, отражая его стремление к духовной жизни, к иночеству. А монах и есть человек, покинувший мир, готовящий себя к ответу на Суде Христовом. Гоголь остался писателем и как бы иноком в миру. В своих сочинениях он показывает, что не человек плох, а живущий в нем грех. То же всегда утверждало и православное монашество. Гоголь верил в силу художественного слова, могущего указать путь к нравственному возрождению. С этой верой он и создавал “Ревизора”.

“Ах, как много на свете кошек..”

Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

*...умываются умные кошки,
но в свой мир никого не зовут.*

Б. Чичибабин

Обычная домашняя кошка – одно из самых загадочных земных существ. Вспомним многочисленные русские пословицы, поговорки, загадки: Отчего кот гладок? – Поел и на бок; Знает кошка, чье мясо съела; Загордился кот и с печи нейдет; Кошка спит, а мышей видит; У кошечки когти в рукавичках; Играет, как кот с мышкой; Блудлив, как кот; Живуча, как кошка; Белая кошка лезет в окошко (свет). А знакомые нам с малолетства колыбельные песенки и стишки: “Котя, серенький коток”, “Кошкин дом”; а пушкинский кот ученый, что ходит по цепи кругом!

Древнейший литературный жанр, в котором издавна “поселились” кошки, – это басня, начиная с Эзопа (“Кот и мыши”) и Федра (“Петух и коты-носильщики”). В России басни приобрели популярность со второй половины XVIII века. Басенные коты олицетворяли такие людские пороки, как хитрость, жадность, коварство: “Свирепый тот мучитель-кот!” (А. Сумароков. “Кот и Мышь”), “под видом кротости он враг наш” (И. Дмитриев. “Петух, Кот и Мышонок”), “Коты и все умны, но только лицемерны” (А. Измайлов. “Черный Кот”), “Что тягостно уму, того не нужно знать” (В. Жуковский. “Кот и Зеркало”), “Известных я врагов всегда предпочитаю Друзьям, которые царапать мастера” (В. Пушкин. “Кот и Моська”), “Худые песни Соловью В котгях у Кошки” и “А Васька слушает да ест” (И. Крылов. “Кошка и Соловей” и “Кот и Повар”). Возможно, первое появление не аллегорического кота встречается в “Карикатуре” (1791) И. Дмитриева: “Все тихо! Лишь на кровле мяучит тощий кот”. Пушкин впустил кошек в дружеские послания: “Мурлыча, в келье дремлет спесивый старый кот” (“Послание Галичу”), в сатирические и юмористические стихи и поэмы “Гусар”, “Тень Фонвизина”, “Домик в Коломне” и в святочные гадания в “Евгении Онегине”: “Милей кошурка сердцу дев”.

После Пушкина, который “ввел в русскую поэзию образы животных в обыденности”, “бытовой жанр становится преобладающим в анималистической поэзии” (Эпштейн И.Н. “Природа, мир, тайник вселенной...”). Система пейзажных образов в русской поэзии. М.,

1990. С. 96). Но кошка остается в ней редкой гостьей на протяжении всего 19-го столетия, появляясь преимущественно в стихах, посвященных детям: “Кот поет, глаза прищуря”; “Знать, вчера недаром кошка Умывала нос” (А. Фет), “Середний сын кота дразнил” (Н. Некрасов), “Мама! а видишь – вон черная кошка Злыми глазами косится на нас?” (Н. Огарев); иногда в ироническом контексте: “И дикий кот, мяуча, бродит, Талмуда враг и Каббалы” (А.К. Толстой), “...крики кошек и возню мышей Готов приветствовать, как голоса природы” (К. Случевский) и совсем редко в лирике. К примеру, у А. Майкова герой вспоминает о прошлом и мнитяся ему, что кот, лежащий под образами, видит тени ушедших, когда он “желтыми глазами по темной комнате, мурлыча, поведет” (“Мечтания”), а С. Надсон описывает хозяйского кота, “старинного друга семьи”: “ляжет на диван и шурит, засыпая, зрачки горящие свои” (“Сбылось все...”).

Пожалуй, лишь в одном, фетовском, стихотворении кот выступает не эпизодическим персонажем, а объектом лирических излияний: “Не ворчи, мой кот-мурлыка, В неподвижном полусне: Без тебя темно и дико В нашей стороне”.

В поэзии Серебряного века происходит расширение и углубление анималистической темы – увлечение дикими и экзотическими зверями, интерес к какому-то таинственному началу в животных и “звериному” – в человеке.

Новый анимализм появился в начале XX века и в обрисовке кошек. Прежде всего в них отмечается как связь с дикими родичами – “профиль дикой кошки, хищной и щекатой твари” (Сологуб); котенок “бросался, как юный тигренок” (Есенин), так и сходство с людьми. У Блока “обмызганный кот” тарашит глазища, сочувствуя герою, потерявшему сердце: “Ты думаешь, тоже свидетель? Так он и ответит тебе! В такой же гульбе Его добродетель!” (“Когда невзначай в воскресенье...”). О кошачьих умственных способностях раздумывает и Цветаева: “Что понял, длительно мурлыча, Сибирский кот?” (“Под лаской плюшевого пледа...”).

Кроме того, в кошках приоткрывается какая-то непостижимая, колдовская сила: “У ней в крови – бродячий хмель страстей”, “В ее зрачках – непознаваемая чара, В них фосфор и круги нездешних сфер...” (Бальмонт. “Мои звери”). Кстати, именно такими, похожими на древних сфинксов или вещей идолов, увидел котов французский поэт Шарль Бодлер, адресовавший им три стихотворения в “Цветях зла” (“Кошки”, “Кот”, “Кошка”). Бальмонт, восхищаясь кошачьим изяществом и очарованием, прямо ссылается на “трагического Бодлера” и “страшного Эдгара” (Э. По), своих “двух братьев в бездне мировой”, влюбленных в величественных котов.

Если Бальмонт подчеркивал близость кошки к ведьме, то В. Иванов называет своего кота “ворожеем” и сравнивает с Мемноном (сыном Эос, богини утренней зари) и тоже любит его глазами: “Два су-

женных зрачка – два темных обелиска, Рассекших золото пылающего диска” (“Кот-ворожей”). Но навеянные им сладкие чары оказываются призрачным сном, а при пробуждении вместо “друга мирных нег” – “печи жаркий глаз”. У Ф. Сологуба “испуганная нежить” прикинется котом, “сверкнет зеленый глаз, царапнет быстрый ноготь” – и навалится серая тоска (“Не трогай в темноте”).

Мистикой веет и от бунинской кошки, приходящей по ночам в обветшалый дом, где когда-то лежал под образами старик-покойник: “Кошка приходит и светит глазами. Угол мерцает во тьме образами. Ветер шумит по печам” (“Кошки”). Этот мистический образ, связанный со смертью (в первопечатном издании была помета «Из цикла “Смерть”»), перекликается с гоголевской серой кошечкой, предвещавшей смерть в “Старосветских помещиках”. Развитие этой же темы появится в старости у Г. Шенгели: “Это, видно, смерть приходит – Мутной кошкой на песьих ногах”. Она скорее всего привиделась лирическому “я”, и припомнились семейные предания, в которых “при всех умирающих” являлся темный морок: “Может быть, это древний наш тотем Благодатный спаситель от крыс. Если так, – поскорее воротим Ускользнувшего друга! Кис-кис!”. А образ мандельштамовского кота, живущего у Кащея “не для игры”, не просто фантастичен, а фантазмагоричен: “У того в зрачках горящих Клад зажмуренной горы, И в зрачках тех леденящих, Умоляющих, просящих, Шароватых искр пиры” (“Оттого все неудачи...”).

Разумны и одухотворенны кошки у ранней Цветаевой. Они независимы от человека и напоминают киплингговскую героиню, которая гуляет сама по себе. Трижды повторяется в стихотворении “Кошки” рефрен: “В кошачьем сердце нет стыда!”, “В кошачьем сердце рабства нет”, “В кошачьем сердце нет любви!”. По мнению юной Марины, кошки уходят от нас, когда мы в горе; их бесполезно обучать домашней роли – “они бегут от рабской доли”; сколько их ни балуй, ни мани, они предпочитают волю и равнодушны к хозяевам. А через два–три года повзрослевшая Цветаева, уже замужняя и родившая дочку, написала колыбельную для... котенка “Собаки спущены с цепи”. Сколько нежности и ласки в авторском голосе! “Спи, милый маленький мой, спи, Котенок милый!”, “Спи, мой кошачий голубок, Мой рыжий с белым!”, “Ты – вся моя утеха...”, “Я к мордочке прильнула вплоть...”. А в конце мольба к Богу, как будто речь идет о собственном ребенке: “Да сохрани тебя Господь И все святые!”.

Такое бережное, любовное обращение с котенком неожиданно сближает молодую Цветаеву с новокрестьянскими поэтами: “котенок – пух медовый”, “мурлыке будет блин” (Н. Клюев); “На лежанке мурлычет котенок, Безразлично глядя на меня” (С. Есенин). Для Клюева вообще характерен культ кота как домашнего духа, хранителя крестьянской избы: “Шесток для кота – что амбар для попа – К нему не заглохнет кошачья тропа”, “Тих мой угол и лежанка горяча, Старый

Васька покумился с домовым”. В отличие от цветаевских кошек, отчужденных от людей, клюевские коты (а он предпочитал именно котов) сопричастны человеческой жизни: один рассказывает нам сказку про Леля, другой плачет, потеряв хозяйку и “смерть постигая звериным умом”. Кто знает, быть может, кот способен предотвратить смертный час? “Мяукал бы злобно и хвост распушил, На смерть трясогузую когти вострил” (“Шесток для кота...”).

А у Есенина есть и коты, и кошки, и котята, причем им присущи не только родовые свойства, но и индивидуальные особенности. Вот внимает хозяйской беседе оглохший кот, свеся с лежанки “важную главу”, он похож на черную сову и, кажется, лапой показывает дулю (“Метель”).

В поэзии Серебряного века, наряду с традиционными и банальными аналогиями тина “кошачьей походки”, “дева, как кошка”, “зеленые глаза – глаза кота”, встречаются оригинальные уподобления: “Слышу твой кошачий шаг, призрак измены!” (Кузмин), песни – “слепорожденные жалкие котята” (Асеев), “совесть – котенок лукавый” (Ходасевич), и у С. Черного кот походит на “толстую муфту с глазами русалки” – парадоксальное соединение в одном образе живого, вещного и фантастического. Менее своеобразно сравнение И. Северянина: “В мое лицо, как рыжая кошка, Кура (река. – Л.Б.) профыркала о чем-то злом” (вспоминается лермонтовское “И Терек, прыгая, как львица...”). Необычны есенинские сопоставления природных явлений с кошками: “заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот”, “солнышко, словно кошка, тянет клубок к себе”.

Поистине настоящим “котофилом” был Саша Черный. Кошки сопровождали поэта на всем протяжении его творчества, обживая и населяя сатирические, лирические и детские стихи, и повсюду их поведение очеловечено и вызывает улыбку: “Отдаленные вскрики флиртующих кошек” (1911), “Кот томно обходит дорожки и кочки И нюхает каждый цветок” (1920), “По форуму Траяна Гуляют вяло кошки” (1928), «Кричит котенок, просится: “Возьми!” Ну что ж, поняичу, пусть не плачет» (1928), “С балкона кошка щурится с презреньем...” (1930). А вот целая юмористическая сценка:

Вчера мой кот взглянул на календарь
И хвост трубою поднял моментально,
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:
“Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...”

(“Пробуждение весны”).

С. Черный посмеивается и над людьми, и над кошками. У сиамской кошечки, как и у ее разочарованной и сердитой хозяйки, “по логике дамской засверкал раздраженьем дымно-сиреневый глаз” (“Ошибка”). Ли-

рический герой подглядел, как “сосет рябой котенок суку”, и с сияющим лицом вносит этот факт как “ценный вклад в науку” (“Кумысные вирши”). А другой герой умилился поведением красавца-кота, который прыгнул к нему на колени, вероятно, поняв, как тот одинок, но выяснилось, что его привлекло лежавшее в кармане сало – “нет больше иллюзий” (“Чуткая душа”). За трубочистом гурьбой следуют коты “жадною толпою” (лермонтовская аллюзия). Почему? “Угостил одну кошчонку, Ну – а та сболтнула всем” (“Трубочист”). Кошки, за которыми внимательно наблюдает автор, становятся активными участниками действия: “А Лизин кот, прокравшись за нею, Обходит и нюхает пол, И вдруг, насмешливо выгнув шею, Садится пред нами на стол” (“Мой роман”), “Мой любимый, мой вежливый кот В отчаянье лапою землю дерет” (“Мистраль”). В “Ночных lamentациях” поэт, беседа со своим котом, предостерегает его:

Счастлив ты, ворчун бездумный,
 Мир твой крохотный уютен:
 Ночью – джунгли коридора,
 Днем – пушистая кровать.
 Никогда у лукоморья
 Не кружись, толстяк, вокруг дуба, –
 Эти сказки и баллады
 До добра не доведут...
 Вдруг очнешься: глушь и холод,
 Цепь на шее все короче,
 И вокруг кольцом собаки...
 Чуть споткнешься – и капут.

Если С. Черный осовременил пушкинского кота, то Н. Гумилев вообразил себя маркизом де Карабасом, и его умный добрый кот не только кормит своего хозяина, но готов ради него бросить вызов миру, не теряя при этом кошачьих привычек: “мурлычет, уткнув мне в руку влажный нос”, “лапкой белой и точеной, сердясь, вычесывает блох” (“Маркиз де Карабас”).

В. Ходасевич обращался к гофмановскому коту Мурру, который “в забавах был так мудр и в мудрости забавен”, а теперь находится “за огненной рекой, где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин”. И автор также мечтает попасть в те сады, где “вкушают вечности заслуженный покой поэтов и зверей возлюбленные тени” (“Памяти кота Мурра”). Вспомнила “кота ученого” поздняя И. Одоевцева в сб. “Златая цепь”. Он усвоил “стихотворные законы”, мурлычет ямбами, “парапсихику постиг” и убежал в Лукоморье. А молодой Э. Багрицкий уподоблял знаменитому коту себя самого: “Кружась, как мудрый кот под дубом, цепь волочил я по камням”.

Традицию воскрешения старых литературных персонажей продолжают и последующие поколения русских поэтов: “Новости о Коте в са-

погах” (Н. Матвеева), “и даже булгаковский кот” (Е. Евтушенко), “когда от тебя оставались лишь губы, как от того кота” (И. Бродский) – имеется в виду Чеширский кот Льюиса Кэрролла из “Алисы в стране чудес”.

Анималистская тема в советской поэзии подверглась “биологизации” в 20-е и 30-е годы, затем социологизации (см. Эпштейн М.Н. Указ. Соч. 113–119). В первом случае упор делался на поведение животных, во втором – на их полезность людям. Так, у Э. Багрицкого коты либо охотятся за едой: “...мурлычет, Облизываясь, кошка, осторожно Под стульями прокрадываясь к месту, Где незамеченным лежит кусок Говядины, покрытый легким жиром” (“Тиль Уленшпигель”), либо предаются “любви”: “Теперь на скользких крышах Кошачьи начинаются свиданья” (“Трактир”).

Целую поэму-сказку “Тёх-Тёшка”, явно предназначенную для детского чтения, создает Н. Асеев – о котенке с подробным (в 8 частях) описанием его роста, развития и проказ: точил о мебель когти, кусал подметки, лазал по шубам на вешалке, таскал зубные щетки. А год спустя он “превзойдет котов ученых; станет сказки говорить” и песни станет петь на крыше.

Сказочным духом – на этот раз перрровским – веет от “Переулка кота-рыболова” Н. Тихонова про умного кота, ловившего хозяину харчей, “на серый коготь рыбу наколов”, и в Париже живет легенда о “батраке с кошачьей головой”. В “Сказке о коте и еже” К. Некрасовой повествуется о гордом и воинственном коте, который затосковал и перестал мурлыкать, когда в доме завели ежа, но, прислушиваясь, как тот шуршит в ящике, наверное, понял, что он “на земле не одинок”. Шутливая сказка О. Сулейменова “Серая мисс” показывает котов в восприятии мышей и включает в себя словесно-звуковую игру: мышка-мать винит себя, что родила мышонка на свет, “где нет жизни от котов”, где ждут его “коты, мышьяк и мышеловки”, и, чтобы стать могучим и ученым, надо развивать “мышление и мышцы” – «Пусть прячутся коты, когда услышат: “Мой мышонок на котов охотой вышел!”». А Вознесенский заставляет “членистоногого кота”, что “в плечи втягивал жутко башку, как в черную трубу”, вещать о “пропащей судьбе” поэта (“Шутливый набросок”).

В анималистической поэзии последней трети 20 столетия кошки все больше утверждаются как существа особенные, со своим внутренним миром, с чувством собственного достоинства и удивительной чувствительностью и проницательностью: “Кошки цену себе знают, Ходят, будто вспоминают Прежнее свое величие...” (Л. Мартынов. “Кошки”); “Он как фактуру видит вещи, в чем-то мнимые. В тиши ночей – со стороны – он видит сны мои” (Н. Матвеева. “Чуткость кота”).

Примечательна “Песенка о Черном коте” Б. Окуджавы, в которой выведен неординарный кот: он не поет и не плачет, ничего не требует и не просит, а молчит и “в усы насмешку прячет”. Люди побаиваются

нер); “котенком на крышу сарая забралась худая луна” (Ю. Гончаров); “Я в руки буханку теплую, как котенка, брал” (Ю. Кузнецов); “рифмы кошками под колеса бросались” и “кусты кошачьи спины выгнут” (Б. Слуцкий); “кошачья игра двоедушия” (М. Луконин); “В кошачьем мешке у пространства хитро прогрызаешь дыру” (И. Бродский); “отчаянья струна, как кошка, измучась, язвит живучий дух, где чайная мертвы” (Ю. Мориц).

Особенно изобретательны кошачьи метафоры и сравнения Андрея Вознесенского: “А кошка, злая, как оса, / не залетит на небеса”, “А кошка – интеллектом уже, / Знай, штамповала деток в свет, / углами загибая ушки / им, как укладчица конфет”; “Мой кот, как радиоприемник, / зеленым глазом ловит мир”, “Как черные коты, / визжат повсюду мобиле, / подняв свои хвосты”.

Особую роль играли коты в жизни и творчестве Иосифа Бродского, который любил их и общался с ними, как с друзьями или родичами. По утверждению Е. Рейна, “кот – тотем Бродского”. Любопытно, что А.А. Ахматова его называла “полтора кота”, сравнивая со знакомым котом Глюком, превышавшим обычные размеры. И сам поэт в одном интервью уподобил себя коту, которому наплевать, существуют ли ЦК КПСС и общество “Память”; безразличен президент США: “Чем я хуже этого кота?”. В его стихах кошки постоянно живут рядом и вместе с людьми, которые их то обнимают, то чешут, то сами ходят на “запеченого котофея”. Коты обитают всюду – в комнатах, в подвалах, на улицах: “во мраке кот с урчанием дышал”, “сумрачно под лампою лежал”, “из-под стола кошачий взгляд блестел”, “в ногах мурлычет серая колдунья”, “в подвалах кошки спят, торчат их уши”, “в полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли тени”. Но в эмиграции, хотя и жил у Бродского любимый кот Миссисипи, поэт не посвящал ему стихов и упоминал о кошках лишь в воспоминаниях о прошлом, как в жуткой колыбельной песне матери: “Это – кошка, это – мышка. Это – лагерь, это – вышка. Это – время тихой сапой убивает маму с папой” (“Представление”); или: “Теперь в твоих глазах амбарного кота, / хранившего зерно от порчи и урона, / читается печаль, дремавшая тогда, / когда за мной гналась секира фараона” (“Письмо в оазис”).

Итак, образы кошек наполнены в русской поэзии многообразным смыслом: то это олицетворение уюта, тепла и покоя домашнего очага, то воплощение очаровательной игривости, то загадочной inferнальности, то мудрости, то коварства, то бесприютности живого существа. Кошки заставляют нас задуматься о самих себе. Как сказал Б. Чичибабин, “Под плач кошачий думаю: кто мы? Так недобры и так неблагодарны”.

*Цфат,
Израиль*

Слово в художественном мире Валентина Распутина

В. Д. СЕРАФИМОВА,
кандидат филологических наук

*Наступает пора для русского писателя
вновь стать эхом народным и не бывавшее
выразить с небывалой силой,
в которой будут и боль, и любовь, и
прозрение, и обновленный в страданиях человек.*

В. Распутин. "Мой манифест"

В.Г. Распутин воспринимается современниками как писатель, умеющий на местном материале художественно убедительно, психологически достоверно решать "вечные" вопросы человеческого бытия, ставить проблемы общенационального, остросоциального и общечеловеческого значения.

Творчество писателя, начиная от первой повести "Деньги для Марии" (1967) до рассказов последних лет, таких, как "Женский разговор" (1994), "В ту же землю" (1995), "Видение" (1997), "Нежданно-негаданно" (1997), "Новая профессия" (1998), "Изба" (1999), обладает определенным единством – единством идеи, пафоса и стиля. «"Прощание с Матерой", – отмечает С. Семенова, – не столько повествование о некоем конкретном затоплении одного сибирского острова, сколько философская повесть, ставящая вопрос о границах и нравственных пределах прогресса (...). Взгляд старухи Дарьи вносит важнейшие изменения в восприятие и понимание мира, не одномерно-сиюминутные, но глубинные, связанные с включенностью человека и в общеприродную, космическую жизнь, и в родовую цепь преемственности поколений» (Семенова С.Г. Валентин Распутин. М., 1987. С. 130).

Бесспорным фактом является свежий аналитический взгляд Распутина на действительность. В творчестве писателя отражаются существенные тенденции в развитии русской прозы последних десятилетий XX века, сфокусированные и в произведениях В. Белова, В. Шукшина, В. Астафьева, Ф. Абрамова, Е. Носова: интерес к внутреннему миру, нравственным исканиям человека, к его духовному, эмоциональному состоянию. Душой шестидесятилетней Пашуты, героини рассказа "В ту же землю", проработавшей большую часть жизни на "стройке социализма" в Братске и не имеющей денег по-христиански похоронить привезенную "на зимовку" из деревни мать, осознаем мы "трево-

гу бедных деревень” (фраза А. Платонова), существующее положение в нашей стране, проникаемся болью за гражданскую боль другого человека: “У могилы матери, когда встанет она перед могилой (<...> когда взглянется Судия недремный, что же такое там бесславное происходит и кто это затеял, она не станет прятаться (<...> Господи, что это за мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!” (В. Распутин. В ту же землю. М., 2001. С. 323).

Точность, меткость фразы – характерная особенность стиля Распутина. Повествовательная струна в его произведениях не “обвисает”, остается в постоянном напряжении, пишет ли он о переменах, происходящих в человеке и мире, когда люди от мира природного, исколеченного ими, уходят в виртуальный мир, калечащий их самих, говорит ли о духовности любви, о сиротстве ребенка, ставшего “игрушкой” в руках “недобрых людей”, предостерегая: “Не разбить бы” (“Нежданно-негаданно”).

С болью в сердце пишет Распутин о разрушении “вековечного порядка”, о разорении деревни, олицетворяя ее в двух-трех фразах: “Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы – все унесло неведомо куда при новых порядках. Отпустили деревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов – гуляй на все четыре стороны! (<...> С землей, с волей, беспривязная, брошенная – залегла она под ленский берег и ждет, все меньше и меньше трезвясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы хлеб привозили?...” (“В ту же землю”).

Повествовательная струна остается напряженной, когда Распутин пишет о тех нравственных заветах, которые передаются от старших поколений младшим, прибегая к поэзии живой старины, воссоздавая искусство стародавней русской беседы с ее магией звуков и ритмов, и когда размышляет о слитности человека с природой, проясняя древние, вековые смыслы слов, таких, как “отчие пределы”, “небо”, “звезды”, “берег”, “звон”. Русский язык под пером писателя передает и божественность мира, и красоту человека, живущего в гармонии с природой: “Стал я по ночам слышать звон: будто трогают длинную, протянутую через небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком (<...> Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый смысл – и люди, и деревья, и птицы (<...> Но нельзя наглядеться на этот мир – точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы” (“Видение”).

Валентин Распутин видит благо людей в их единении, в противоборстве злу. На передний план в его прозе выступают проблемы, связанные с нравственными первоосновами всечеловеческого бытия, “способности бесконечного жизненного развития” (А. Платонов). Пи-

сателя волнует “невольная вина каждого за попущение злу” (Распутин В. Мой манифест // Наш современник. 1997. № 3. С. 6). Предостерегая общество от “жизни на краю”, от “светопреставления” (фразы Распутина), писатель поднимает вопросы недопустимости “архаровской” позиции в жизни. Задавая себе вопрос – “Как из того, что начиналось тут, получилось то, что есть?!” героиня из рассказа “В ту же землю”, в восемнадцать лет убежавшая на стройку на Ангаре, “где все гремело, светилось, кипело и кружилось”, на старости лет рассуждает о добре и зле: “Пашута теперь уже и не знала, почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь. Сейчас все по-другому, обо всем надо судить заново (...) Как медведи в зимний гнет залегли по берлогам и высовываются редко, только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попущении злу прячут глаза – и те, кто считает себя виноватым и кто не считает” (“В ту же землю”).

В отражении народного видения мира писатель большое значение придает языку. По Распутину, “язык – кровь литературы”; и “самая большая беда литературы – безъязыкость, худосочность, стертость”. В интервью “Литературной газете” писатель подчеркивал: “И какой бы патриотической или нравственной ни прикидывалась книга, без глубинного русского языка ни тем, ни другим ей не быть. Патриотизм писателя прежде всего во владении родным словом, в способности стать волшебником, когда берешься за перо” (Лит. газета. 2002. № 14. С. 11).

Глубинный русский язык позволяет Распутину говорить со своим читателем об общечеловеческой морали, о вечных ценностях, нравственности, создавать образы героев – носителей этической проблематики. Язык в прозе писателя выступает как одна из форм жизни, в которой проявляется осмысляющее мир сознание. Герои Распутина обладают философским складом ума, размышляют о месте человека в системе миропорядка, о смысле прихода человека в мир. Перед смертью старуха Анна из повести “Последний срок” вспоминает слова, которые сказал ей сын Михаил, сам почти еще парнишка, после рождения своего первенца Володьки: “Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от него еще кто-нибудь (...) Вот так оно все и идет”. Авторский голос передает народное восприятие жизни: “Он только тогда понял, что так оно все идет, шло и будет идти во веки веков и до скончания мира, когда эта простая, никого не обходящая истина, не замкнувшись на нем, накинула на него новое кольцо в своей нескончаемой цепи (...) понял, что смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба”. Человек в прозе Распутина предстает как олицетворение жизни, ее гарантия, как продолжатель рода человеческого и носитель вековых моральных устоев. “Жизненная философия”, передающая народ-

ное мироощущение связи людей, идеального жизнеустройства, осмысливается героями Распутина на всем пространстве его творческого пути: “И своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной (...) Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей” (“Последний срок”).

Емким образом-понятием, вбирающим в себя нравственные представления о взаимосвязанности людей, становится в прозе Распутина словосочетание “общий организм”. “Человек не может быть нужен только самому себе, он – часть общего дела, общего организма”, – эта мысль из внутреннего монолога героини рассказа “В ту же землю” выражает нравственные принципы самого писателя, предостерегающего своего читателя от забвения “человеческих устоев”.

Идея сопричастности человека семье, дому, роду, поколению, нации, планете, общему круговороту жизни проходит через все произведения писателя. Параллельно с реалистическими способами изображения Распутин использует миф, притчу, фольклорные элементы, обряды и предания для художественного обобщения, где на первый план выходят первоэлементы бытия: жизнь, смерть, дети, семья, вода, хлеб. Идея причастности роду и цепи поколений в повести “Прощание с Матерой” находит мифо-фольклорное воплощение в символическом образе “нитей жизни”. Героиня повести, светлой души человек Дарья ощущает свое бессмертие в цепи поколений. Глядя на сидящих рядом сына и внука – Павла и Андрея – Дарья размышляет: “Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка столько, кажись, было голов – где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было... чтоб с другого конца новый подвязать. Куды? В какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что будет? Пошто так охота узнать, что будет?” (“Прощание с Матерой”).

Своеобразие распутинского письма проявляется в психологизме, в образном раскрытии категорий совести, памяти, передаваемых ретроспективно, через воспоминания героев, через диалоги, авторскую речь. Устами Дарьи в “Прощании с Матерой” писатель взывает к гармонии между такими извечными нравственными понятиями, как память, труд, совесть, доброта, красота, душа, разум, с помощью которых осуществляется обновление мира и человек сохраняется как личность. Слова, обозначающие эти понятия, являются самыми частотными и в малой, и в большой прозе писателя: “На Руси испокон веку почитается та красота, которая украшается душой” (“Новая профессия”), “Плохо мы слушаем свою душу” (“Изба”), “Чья душа во грехе, та и в ответе” (“Прощание с Матерой”), “Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву” (“Пожар”), “Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни” (“Прощание с Матерой”). В многочисленных внутренних монологах Дарьи из “Прощания с Ма-

терой” открывается необходимость для каждого самому докапываться до истины, жить работой совести. Хорошо помнит Дарья завет отца: “Ты, Дарья, много до себя не бери – замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть”.

Распутиным создана целая галерея образов человека-творца. Авторская речь, речь персонажей служат важнейшим средством изображения женщины-труженицы. Такова, например, Агафья в рассказе “Изба”, своими руками сложившая дом и печь во время “общего светопреставления” на Ангаре, когда все деревеньки с обоих берегов “сваливали перед затоплением в одну кучу”: “Умела она справлять любую мужскую работу {...} Каждую выбоину, каждый бугорок на них (на полях. – В.С.) Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, – вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крЮчила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот {...} С удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топорище, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку”. Образы женщин – Дарьи, Агафьи, Анны, Натальи, Гали – символизируют возрождающиеся силы природы. В концентрированной форме образ женщины – “души мира” – возникает и в связи с сюжетной линией Алены в повести Распутина “Пожар”. Архетипическая мать Алена – это звено между прошлым, культом роженицы, Богородицей, символизирует обновление, слово Божье: “В этой маленькой расторопной фигуре, как во всеединой троице, сошлось все, чем может быть женщина {...} Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом. В уста Алены Распутин вкладывает вопрос о сущности человека: “Мы почему, Иван, такие-то?!”.

Для Распутина слово – это выражение национального духа, воплощение жизни, души человеческой. Такие выразительные средства языка, как метафоры, эпитеты, сравнения, – не только самоценное достоинство его творчества, они служат как эстетическим, так и этическим целям писателя. Так, тревога писателя за разрушение домашнего очага передается через олицетворение природных сил, через уподобление предметов и явлений мертвой природы, неодушевленного мира чувствам и свойствам человека, живого мира вообще: “деревня перестала рожать”; “все реже стучат топоры на новостройках”; “и стала год от года ужиматься в поселке жизнь”. С болью, как о живом человеке, пишет Распутин о деревенской избе – “старой”, “почерневшей”, “потрескавшейся”, “осевшей”, “осиротевшей”, но все же “каким-то макарон из последних сил державшей достоинство”. Изба не приемлет человека, который не хочет “слепить гнездо”, “прибрать за собой, как положено”.

Эпитеты, олицетворяющие метафоры писатель использует для передачи своей концепции спасения от “жизни на краю”: “Вдохнула

Агафьина изба, прощаясь, – так тяжело и больно вздохнула, что за скрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть”. Финал в рассказе “Имба” – открытый, устремленный с надеждой в будущее. Тема дома не приобретает трагической окраски: все зависит от самого человека. Имба Агафьи и после смерти хозяйки выстоит, управится сама с пожаром, когда пьяные “без памяти” постояльцы, глухой ночью растапливая печь, не закроют печную дверцу, и изба загорится: “Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, (...) печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри (...) И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры”.

Связь человека с родной землей, неотделимость судьбы человеческой от судьбы родного дома, земли – одна из сквозных тем творчества Распутина. Писатель размышляет сам и побуждает размышлять читателя о вековых и пошатнувшихся нравственных опорах, о связи и разрыве времен, готовя тем самым перемены общественного сознания. Носителям нравственных ценностей Распутин противопоставляет современных “обсевков”, “неробеев и причиндалов”, “шабашников”, воплощенных в образах “архаровцев” – “легких людей”, не обзаводящихся ни домом, ни огородом, не пускающих корней в землю, где бы они ни жили. С болью, с горькой иронией ставит писатель болевой для общества и каждого человека вопрос об ответственности за то, что происходит вокруг него: “Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть – такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения” (“Пожар”). Символическую многозначность приобретает в “Пожаре” образ дяди Миши Хампо – “духа сгоровского”, бескорыстного, безгрешного, охраняющего общее достояние, “прирожденного сторожа” с уставом – “чужого не трожь”, убитого во время пожара. Образ Хампо вызывает аналогии с образами юродивых на святой Руси, окруженных ореолом неприкосновенности.

В 2000 году В.Г. Распутин был награжден литературной премией имени Александра Солженицына “За пронзительность выражения поэзии и трагедии русской жизни в сращенности с русской природой и речью”. Произведения писателя, заслуженно пользующегося репутацией нравственника, органически соединяют в себе форму и содержание, формируют эстетические вкусы и идеалы, побуждают быть создателями, помнить: “Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя” (“Пожар”).



Кармадон альтиста Данилова и Черт Ивана Карамазова

И. А. СУХАНОВА,

кандидат филологических наук

Роман В.В. Орлова “Альтист Данилов” пронизан отсылками к литературным текстам, с очень широким диапазоном от Евангелия до оперных либретто и популярных в 70-е годы песен. Важный пласт источников – произведения русской классической литературы XIX века. Мы анализировали содержащиеся в тексте романа отсылки к поэмам М.Ю. Лермонтова “Демон”, “Азраил” и “Ангел смерти”, подробно рассматривали эпизод ссоры и дуэли Данилова с Кармадоном (Суханова И.А. Интертекстуальные связи романа В. Орлова “Альтист Данилов” // Язык русской литературы XX века: Сб. статей. Ярославль. 2001) с точки зрения отсылок к эпизодам хрестоматийных произведений русской литературы и их преобразования в новом тексте, способствующих созданию комического эффекта, более полному выявлению характеров персонажей, высвечиванию их сущности.

В произведении Орлова очевидна полемика с романом Т. Манна “Доктор Фаустус”, глава которого содержит демонстративную отсылку к эпизоду с Чертом в “Братьях Карамазовых” Ф.М. Достоевского – к IX главе книги одиннадцатой “Черт. Кошмар Ивана Федоровича”.

Черт является Ивану Карамазову в кошмаре как плод его болезненно воображения. Внучатый племянник Мефистофеля Кармадон посещает альтиста Данилова наяву и существует независимо от его воображения; Данилов, сам наполовину демон, сосланный некогда “на Землю, в люди”, принимает на Земле Кармадона по распоряжению “Девяти Слоев”: “на Землю по премиальной путевке Канцелярии от

Наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова по лицею Кармадон”. Основное место пребывания Кармадона – Девять Слоев, или эфир: “А озорник Кармадон (...) мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из *эфира* и в непохожем на себя виде” (Цит. по: Орлов В.В. Альтист Данилов. М., 1993. Курсив наш. – И.С.). Эфир – это и обычное место обитания Черта, явившегося Ивану Кармазову: “в пространствах-то этих, в *эфире-то*, в воде-то этой, я же бе над твердью, ведь это такой мороз”, – рассказывает Черт о своем неосторожном преждевременном воплощении перед одним из своих визитов на Землю. “Я иногда *воплощаюсь* – откровенничает Черт у Достоевского. – *Воплощаюсь*, так и принимаю последствия”.

В романе Орлова об обитателях Девяти Слоев сообщается: “И существа этого мира могли не только преобразовываться и превращаться (...) но и воплощаться. (...) В общении с землянами и с личностями, занятыми делом лишь на Земле, вроде Данилова, Девять Слоев и их обитатели воплощались в формы, известные именно жителям Земли”. То же относится и к Кармадону. Почти сразу он дважды “преобразовывается”, потому что первое преобразование оказывается неудачным: “Последний раз Кармадон был на Земле и в Москве в пятьдесят четвертом году... Имел Кармадон витой кок, набриолиненный и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой, порочной обезьяной, брюки в обтяжку (...) Лицо вот только у Кармадона было уже не юное”. Черт, явившийся Ивану Кармазову, также выглядел немолодым и отставшим от моды: “Это был какой-то господин, или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых (...) Одет он был в какой-то коричневый пиджак (...) Белье, длинный галстук в виде шарфа (...) широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить”.

Таким образом, хотя Черт похож на “приживальщика”, а Кармадон – “ас со спецзаданием”, в них есть и общее: оба немолоды, и одежда обоих была модной когда-то давно. Детали одежды, несмотря на различие эпох, имеют сходство: пиджак, слишком узкие брюки и бросающийся в глаза галстук.

Причины, по которым оба гостя выглядят старомодными, разные: Черт, похожий на приживальщика, уже своим видом должен унижить Ивана Федоровича: “как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?” Кармадон же просто не знает, что сейчас носят на Земле, и, полагаясь на прежний опыт, в образе “стиляги” 50-х годов должен вызвать комический эффект, он и отстал от моды на гораздо больший срок, чем Черт Кармазова. Поэтому в одежде Кармадона не нашел отражения налет свойственной “пошлому черту” “потертости” и “грязноватости”. Кармадон спешит “преоб-

разоваться”, чтобы не выделяться в толпе: “Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых курдюках до плеч, приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны...”. Прическа Кармадона теперь напоминает прическу Черта: “с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых волосах”.

О своей принадлежности к чертям гость Ивана Карамазова говорит как о службе и социальном положении: “И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях”; “Самые лучшие чувства мои, (...) мне формально запрещены единственно социальным моим положением”. Черт дает понять, что состоит на службе в какой-то потусторонней организации: «(...) наконец и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные “сведения”».

В романе Орлова такой организацией с Канцеляриями, бюрократией и волокитой предстают Девять Слоев – мощная потусторонняя структура, распоряжающаяся жизнью и деятельностью демонов, которые считаются состоящими в ней на службе. Перед прибытием на Землю Кармадон “сидел в своей Канцелярии от Нравственных переустройств и писал отчеты о проделанной работе”. К тому, что он демон, Кармадон относится как к профессии: “Это в нас – профессиональное, демоническое”. Данилову, имеющему крупные неприятности “по службе”, он предлагает: “Я устрою тебе перевод в нашу Канцелярию от Нравственных переустройств. Наша-то Канцелярия примет тебя и отцепит от твоей теперешней...”.

Операцию в созвездии Волопаса Кармадон осуществлял по заданию своей Канцелярии. Описание этой операции может восходить к пространному рассуждению карамазовского Черта о снах: “Слушай, в снах, и особенно в кошмарах, ну там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит”. Обитатели планеты Глира в созвездии Волопаса, где “трудился” Кармадон, не только во сне изобретают удачные идеи, но вообще существуют во сне – идея доведена до абсурда: “Да, болванки-волопасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит

с ними в беспробудном молибденовом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вливаться одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет”.

Черт раздражается тирадой о снах в ответ на высказанное Иваном удивление по поводу того, что Черт, плод его воображения, высказывает мысли, прежде ему, Ивану, не приходившие на ум. Иван готов поверить в реальность Черта, но Черт на этот раз начинает его разубеждать: “Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уж вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар и больше ничего”. В “Альтисте Данилове” ситуация перевертывается и снова доводится до абсурда: реальный Кармадон должен проникнуть в сны волопасов: «Кармадон получил особое задание (“Нравственного порядка”, – только и сообщил он Данилову), и каково ему было внедриться в сновидения волопасов! (...) Потом придумал: намазал себя мылом (...) и кое-как втиснулся в сновидения одного наивного волопаса-глира. (...) Просматривал сновидения и путал их». Буквализация известного грубо-просторечного фразеологизма усиливает комический эффект. Отсылку к Достоевскому в рассказе о волопасах и спецзадании Кармадона можно и не заметить, однако в контексте других переключек сопоставление становится более убедительным.

Кармадон особого удовлетворения от своей деятельности не испытывает: “Зачем я путал волопасам сны? Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертия?” Это напоминает и сетования Черта: “...я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на Земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия”. Именно происшествий от пребывания Кармадона на Земле боится Данилов: «Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на Земле дел, к этому все шло. (...) Как бы теперь не вышло кровопролитий и массовых драм. “Хоть бы я его на хунту какую натравил!” – сокрушался Данилов».

Видимо, к образу карамазовского Черта восходит и мотив посещения бани, неоднократно возникающий в связи с образом Кармадона. Уже в самом начале каникул Данилов, натирая гостью спину в ванной, обещает “отнести в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен”. После неудач Кармадона Данилов советует ему пойти в баню для восстановления равновесия: “...может быть, ты сходишь в парную? В Сандуны или в Марьинские бани”. Кармадон следует совету и находит себе в бане собутыльников: “В бане познакомился с двумя”. Следующее упомина-

ние бани развернуто в целую сцену: «Был он и в банях, уже не Марьинских, а Селезневских, опять со скрипачом Земским и водопроводчиком Колей, к которым привык. В бане не зяб и не зевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. Земский, и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм “Семнадцать мгновений весны”».

Пристрастие к бане у Кармадона также оказывается родовым, карамазовский Черт имел такую же слабость: “Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться”. Затем Черт рассказывает, как лечил в бане схваченный “в эфире” ревматизм: “Прибежал к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью натереться. Я единственно чтобы только в баню лишний раз сходить, пошел (...)”. На Ивана это пристрастие к бане произвело сильное впечатление – для него это доказательство мелкости Черта: “Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит”.

И Кармадон, и карамазовский Черт любят самые примитивные земные удовольствия. Кармадон оказывается, в сущности, таким же “мелким” и “пошлым чертом”, как и “приживальщик” Ивана Карамазова. В разгар кутежа с собутыльниками на железной дороге Кармадон высказывает задушевную мечту: «– Мне бы тут жить!» – сказал ему Кармадон. – Где тут? – Вот здесь, – сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета, – на Земле. Хоть бы и водопроводчиком Колей...” Коля поблизости тут же встрепенулся и запел: “Березовым соком, березовым соком...” – То есть как? – удивился Данилов. – А так, – сказал Кармадон и вздохнул». В этом он также напоминает карамазовского Черта: “Моя мечта – это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит”; и повторяет потом: “я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить”. В приведенных фрагментах нет общих языковых единиц, однако смысл высказывания один и тот же. Заметим, что “чины и почести”, упомянутые Чертом, действительно есть у Кармадона – он “ас со спецзаданием”, премированный за проведение “блестящих операций в созвездии Волопас”, то есть была и “надзвездная жизнь”.

Родство Кармадона с “пошлым чертом”, “мелким и мерзким”, высвечивает очень важное противопоставление в романе В. Орлова. Важнейший и, на наш взгляд, основополагающий источник “Альтиста Данилова” – роман Томаса Манна “Доктор Фаустус”. Именно в том эпизоде этого произведения (гл. XXV), который отсылает к “Братьям Карамазовым”, сконцентрирован взгляд немецкого писателя на природу искусства: по Т. Манну, это природа болезненная, патологичес-

кая, дьявольская. А в “Альтисте Данилове” неоднократно подчеркивается, что музыкальный талант героя – исполнительский и композиторский – имеет чисто человеческую природу. Неслучайно Данилов так решительно отвергает легенду о Паганини, якобы продавшем душу дьяволу. Именно музыка Данилова становится для демонов основным доказательством того, что он “стал человеком”.

Таким образом, все нетворческое, немusикальное сближается с демоническим, т.е. бесовским. Поэтому собутыльниками Кармадона и становятся Земский, Коля и Кудасов. Скрипач Земский – потому что исповедует “музыкальное направление”, предполагающее, что музыка вообще не должна звучать, к тому же пытается решить творческие проблемы с помощью потусторонних сил; лектор Кудасов – потому что подчиняет всю свою жизнь единственному стремлению – поест за чужой счет; водопроводчик Коля – потому что он банальный любитель выпить. У Коли в романе есть и важная символическая роль – носителя примитивной песенной культуры, чуждой Данилову, который служит высокой музыке. Когда в сцене суда героя предлагают “лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию типа “Чижика” или “Ладушки”, но современнее их и пустить в мир», он ужасается и предпочитает “лишение сущности”: «Ужас какой! – содрогнулся Данилов. – Ведь могут превратить и в “Лютики”!» (имеется в виду популярная в 70-е годы песня “Ромашки спрятались, поникли лютики”, неоднократно упоминаемая в романе, в частности, ее поют Кармадон с собутыльниками). Подобно тому, как Черт XIX века завидует примитивной семипудовой купчиче, “черт” XX века Кармадон готов перевоплотиться в примитивного Колю с его незатейливыми потребностями, ограничиваться которыми – значит попасть в компанию к черту. Как говорил Черт Ивану Карамазову: «умерь свои требования, не требуй от меня “всего великого и прекрасного” и увидишь, как мы дружно с тобой проживем...»

Ярославль





**“Чайка” Б. Акунина –
“чисто английское убийство”**

*В. В. САВЕЛЬЕВА,
кандидат филологических наук*

Писатель Б. Акунин взял на себя смелость “дописать” пьесу “Чайка” Чехова. Б. Акунин, видимо, оттолкнулся и испытал вдохновение от нескольких фраз в письме Чехова к Е.М. Шавровой: “Пьесу я закончил <...> Вышло не ахти”, – и его самооценок в письме к А.С. Суворину: “Начал ее forte и кончил pianissimo, вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен” (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1986. Т. 12. С. 357; далее – только стр.).

Открытый финал литературного произведения вообще будоражит воображение читателя, и у него мысленно возникают виртуальные постсюжетные варианты “окончания” “Евгения Онегина”, “Войны и мира”, “Преступления и наказания”, “Дамы с собачкой”... Б. Акунин оторвался от собственных творческих замыслов ради того, чтобы пьеса классика была “дописана до конца”.

Начнем с краткой справки. Борис Акунин – литературный псевдоним Григория Шалвовича Чхартишвили, заместителя главного редактора журнала “Иностранная литература”, переводчика с японского и английского языков, главного редактора двадцатитомной “Антологии японской литературы”, автора монографии “Писатель и самоубийство”, а также серии детективных романов об Эрасте Петровиче Фандорине, чиновнике особых поручений при московском генерал-губернаторе (“Азазель”, “Турецкий гамбит”, “Левиафан”, “Смерть Ахиллеса”, “Статский советник”), других романов и повестей. В 2000 году журнал “Новый мир” (№ 4) опубликовал его “комедию в двух действиях” “Чайка” и почти одновременно появилась книга, в которой объединены две “Чайки” – А. Чехов / Б. Акунин. “Чайка”. *Комедия и ее продолжение* (Иерусалим–Москва, 2000).

Перед читателем не просто вариации на темы пьесы, но переписано и исправлено четвертое действие первой “Чайки”, которое стано-

вится первым действием пьесы Б. Акунина, и написано второе действие. Б. Акунин частично переписывает и дописывает первую “Чайку”, чтобы превратить комедию с самоубийством в комедию с убийством. В убийстве Треплева подозреваются все присутствующие в доме, и каждый поочередно признается в этом. Загадка самоустранения Треплева превращается в разгадку поиска убийцы. В качестве “следователя” предлагает себя доктор Дорн, который убеждает всех, что это убийство, и начинает с помощью дедуктивного метода вычислять виновного.

Идея странности самоубийства Треплева всегда мучает читателей и режиссеров “Чайки”. Вспомним, что за фразой Дорна, обращенной к Тригорину (“Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...”), обрывающейся многоточием, следует ремарка *Занавес* – так оканчивается пьеса Чехова. Одна из исследователей режиссерских интерпретаций чеховской пьесы называет выстрел Треплева, звучащий за сценой, “загадочным”. Этот последний звукообраз и “незащищенная кротость Треплева” переданы, например, в постановке чешского режиссера Петра Лебла так, что “возникает повод задуматься: а было ли это самоубийством?” (Давтян Л. Пьеса Треплева как определяющий импульс в современных театральных интерпретациях “Чайки” // Молодые исследователи Чехова. III. Материалы международной конференции. М., 1998. С. 302–303). Б. Акунин снимает недосказанность и сводит многозначность смыслов пьесы только к восьми дублиям-версиям: кто убил Треплева?

Интересно, что версию самоубийства Треплева отвергает и опровергает исследователь литературного суицида. Одна из глав книги Г. Чхартишвили “Писатель и самоубийство” называется “Опасная профессия”, и многие суждения относительно “уязвимости” творческой природы и ее предрасположенности к суициду естественно проецируются и на Треплева (Чхартишвили Г.Ш. Писатель и самоубийство. М., 1999. С. 287–300). Медицинские знания Чехова позволили выстроить довольно убедительную картину поведения писателя-самоубийцы. Синдром раннего старения в сочетании с ослабленным жизненным инстинктом (“Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет”), неудачная любовь (“Разлюбить вас я не в силах...”), творческий кризис, заниженные самооценки (ремарка “*В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол...*”), одиночество, изнеженность, инфантильность, незащищенность, навязчивая мысль о смерти (“Скоро таким же образом я убью самого себя”) и неудачное самоубийство после второго действия – все эти и другие признаки, характеризующие поведение импульсивного самоубийцы, свойственны чеховскому Треплеву.

Читая продолжение “Чайки”, поневоле подумаешь, что имеешь дело с авторским сознанием, перенасыщенным детективной продукци-

ей. У А. Конан Дойла есть рассказ “Смерть русского помещика”, в котором Холмс доказывает удивленному Ватсону, что Ф.М. Достоевский совершенно неправильно понял историю реального преступления, художественно отраженного в романе “Братья Карамазовы”. По мнению Холмса, Смердяков оговорил себя, а убил кто-то другой. “Но кто же тогда убийца?” – спрашивает ошарашенный Ватсон. «Римляне вопрошали: “Кому это выгодно?”. Послушаемся их и определим побудительный мотив» – произносит Холмс (Конан Дойл А. Смерть русского помещика // Книжное обозрение. 1991. № 24. С. 8) и далее убедительно доказывает, что убить мог каждый, включая Алешу Карамазова. Но Холмс не вмешивается в текст романа Достоевского, тогда как Б. Акунин “выпрямляет” сюжет пьесы. Его Дорн предлагает руководствоваться двумя «древними как мир сыскными рекомендациями: Cui prodest и Cherchez la femme («Ищи, кому выгода» и “Ищите женщину”). Рекомендации препошлые, но оттого не менее верные – почти все убийства именно из-за этих двух причин и совершаются».

Детективный элемент, преимущества и недостатки которого были известны автору “Шведской спички” и “Драмы на охоте”, может входить в картину человеческой жизни, но свести чеховский мир к детективу – значит сузить этот мир до одной загадки и отгадки “кому выгодно” и исключить все другие тайны бытия. Во второй “Чайке” концентрация сюжета вокруг одного события привела к усилению драматизма и назвать эту “Чайку” комедией еще более проблематично.

Частично переписав и дописав “Чайку”, Б. Акунин сохранил основную логику чеховских характеров, речевую манеру и поведенческий репертуар каждого персонажа. Но при этом талантливый стилизатор, видимо, намеренно превышает меру, отчего многие персонажи приобретают гротесковые черты. Все герои становятся более неуравновешенными, явно усиливаются моменты психопатии в поведении Треплева, Нины, Маши. Депрессия Треплева во второй “Чайке” перерастает в опасное безумие. Мнительность Сорина относительно своего нездоровья оборачивается то явной симуляцией, то манией. Сам Сорин, убивающий своего племянника ради того, чтобы избавить его от унижений лечебницы для душевнобольных, напоминает героев триллера С. Кинга. Амплу актрисы присуще в реальной жизни не только Аркадиной, но и Нине Заречной, которая явно “играет” во второй “Чайке”. Творческое противостояние Треплева и Тригорина балансирует на грани зависти и ненависти. Ко всему прочему, Тригорин предстает как бисексуал, обнаруживающий чувственное влечение к Треплеву, что дает новый повод для упреков Аркадиной. Вывернуты наружу отношения Треплева и Маши, а мать Маши названа мужем “сводней”. Маша при всех сообщает мужу, что их ребенок от Трепле-

ва и, как героиня Достоевского, переживает страсть-ненависть к герою своего романа.

Черты эпохи декаданса ощутимо усилены во второй “Чайке”. Это касается и визуальных образов, звукообразов и звуко-символов, которые создают фон в пьесе Б. Акунина. Кроме ветра, в ремарках повторяются рокот или раскаты грома, вспышки молнии, шум дождя, бой часов, а беззвучный финал чеховской “Чайки” явно контрастирует с звуковым *crescendo* финала акунинской пьесы: “Все застывают в неподвижности, свет меркнет, одна чайка освещена неярким лучом. Ее стеклянные глаза загораются огоньками. Раздается крик чайки, постепенно нарастающий и под конец почти оглушительный. Под эти звуки занавес закрывается” (158).

Самый образ чайки становится в пьесе Б. Акунина символом кровавой агрессии, а не жертвенности. В “Чайке” Чехова уподобляются убитой птице Треплев (“Скоро таким же образом я убью самого себя”) и Нина Заречная (через фразу Тригорина о девушке, которая “счастлива и свободна, как чайка” и которую погубил человек, “как вот эту чайку”) с ее собственным признанием: “Я – чайка...”. В комедии Б. Акунина Нина, признавшаяся в убийстве Треплева, бормочет: “Я чайка... Я чайка...”, то ли вспоминая себя прежнюю, то ли возрождая иную сторону символического образа этой птицы. Маша, признаваясь в убийстве Треплева, тоже уподобляет себя чайке: “Это не Заречная – чайка, это я – чайка. Константин Гаврилович подстрелил меня просто так, ни для чего, чтоб не летала над ним глупая черноголовая птица!” (133); “Я стояла за окном и думала: довольно, довольно. Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом. Вот и я клону его в темя, или в высокий, чистый лоб, или в висок, на котором вздрагивает голубая жилка” (134).

Подлинным носителем идеи безвинного страдания, связанной с символикой чайки, оказывается у Акунина Тригорин, который, обвиняя Аркадину, выкрикивает: “здесь, на берегу этого колдовского озера, осталось мое сердце! Твой сын подстрелил его, как белую птицу. Я – чайка!”. Самым парадоксальным оказывается признание уравновешенного Дорна, который вдруг выступает защитником всего живого на земле как от охотника Треплева, так и от Треплева-художника, который уже в своей пьесе утверждал, что “все жизни угасти”. Он называет Треплева преступником, “почище Джека Потрошителя”: “А начиналось все вот с этой птицы – она пала первой. (*Простирает руку к чайке.*) Я отомстил за тебя, бедная чайка!”. Эти слова заключают комедию Б. Акунина, и после них чучело отмщенной птицы оживает.

Второе действие “Чайки” Б. Акунина состоит из восьми дублей, в каждом из которых представлено разоблачение и самопризнание убийцы. При этом девять персонажей пьесы “оспаривают” и доказы-

вают свое право на убийство: Нина убивает, опасаясь, что обезумевший Треплев убьет Тригорина; учитель Медведенко – ради будущего своей семьи; Шамраев или его жена Полина Андреевна – потому, что не могут более выносить унижения дочери; Сорин – чтобы избавить любимого племянника от сумасшедшего дома; Аркадина – из ревности; Тригорин – чтобы понять психологию убийцы и использовать это в своем творчестве; наконец, ведущий следствие Дорн видит в устранении охотника Треплева выполнение некой экологической миссии. При этом Б. Акунин использует редкий в детективной литературе ход, когда расследующий оказывается преступником.

Б. Акунину удастся сохранить компоненты индивидуального стиля Чехова. Он расширяет шекспировский пласт чеховской пьесы (См. об этом: Головачева А.Г. Классические сближения: Чехов–Пушкин–Шекспир // Русская литература. 1998. № 4), вводя две новые цитаты из “Гамлета”. Одну из них произносит Аркадина, когда слышит о том, что пуля вошла Треплеву в правое ухо и вышла через левый глаз: “И сок проклятой белены в отверстье уха влил...”. В разыгранной Заречной сцене обморока Дорн свысока обращается к ней: “Ну же, поднимайтесь. Что вы лежите, как утопившаяся Офелия”. В речи Дорна Б. Акунин сохраняет музыкальные цитаты, при этом порой усиливает присущий им у Чехова трагикомический эффект. Так, входя в комнату, где лежит покойник, Дорн напевает из “Ивана Сусанина”: “Бедный конь в поле пал”.

Превышение меры чеховского стиля характерно и при развитии бестиарной темы: много упоминаний птиц и зверей, насекомых. Целый ряд таких упоминаний, как мы помним, содержится в пьесе Треплева (“львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звезды”, “журавли и майские жуки”; Треплев говорит, что самолюбие “сосет мою кровь, сосет, как змея...”; Тригорин о себе: “мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами...”; Сорин рассуждает о пчелах, коровах, лошадях; Треплев упоминает мельника в “Русалке”, который “говорил, что он ворон”, и одновременно сообщает о Нине, которая “подписывалась Чайкой”.

В “Чайке” Б. Акунина уже в первой ремарке, помимо книг, в описании кабинета Треплева упоминаются чучела разнообразных животных, которых можно считать аналогом персонажей его пьесы и доказательством психического расстройства: “Повсюду – и на шкафу, и на полках, и просто на полу – стоят чучела зверей и птиц; вороны, барсуки, зайцы, кошки, собаки и т.п. На самом видном месте, словно бы во главе всей этой рати, – чучело большой чайки с растопыренными крыльями”. После известия о смерти сына Аркадина сравнивает себя с “раненой волчицей”: “Борис, отведи меня в какой-нибудь удаленный уголок, где я могла бы завывать, как раненая волчица”. Медведенко себя называет “козявкой”; говорит о Треплове: “Сидит, как ворон, над

добычей”. Сорин рассказывает о том, что Треплев из ружья или револьвера “стрелял все, что попадетсЯ – птиц, зверьков, недавно в деревне застрелил свинью”. Шамраев подхватывает: “Да что свинью! Он третьего дня в курятнике петуха застрелил”. И вновь Сорин: “⟨...⟩ А в четверг Костя застрелил Догоняя – просто так, ни за что. Добрый старый пес, полуоглохший, доживал на покое”. Тригорин называет Аркадину “паучихой”, а себя “ее добычей”. Усиление бестиарной темы, видимо, должно способствовать усилению комического эффекта в пьесе Б. Акунина.

Ружье, фигурировавшее в пьесе Чехова, во второй “Чайке” заменено гротесковым револьвером, который появляется так часто (и в ремарках первого действия, и в речи героев во втором действии), что его можно было бы включить в список действующих лиц. Уже в первой сцене за чтением собственной рукописи и в дальнейшем разговоре с Ниной Треплев не выпускает “большой револьвер” из рук. Это следует из многочисленных ремарок. Он то поглаживает его, “будто котенка”, то “целится в невидимого врага”, “стукает револьвером о стол”, слушая Нину; он не выпускает оружие даже тогда, когда обнимает ее, а после ее ухода его “глаза полузакрыты, рука с револьвером безвольно повисает”.

Устами доктора Дорна устанавливается родство между чеховским героем и героем детективной серии Б. Акунина: “Мои предки, фон Дорны, переехали в Россию еще при Алексее Михайловиче, очень быстро обрусели и ужасно расплодилось. Одни превратились в Фандорновых, другие в Фандориных, наша же ветвь усеклась просто до Дорнов”. Романы Б. Акунина относят к жанру “постмодернистских детективов”, для которых характерна разноплановая игровая авторская позиция и интертекстуальность. Если сам Б. Акунин указал на фамилию Дорна, как на литературный источник фамилии Эраста Фандорина, то другой исследователь обнаруживает французские корни персонажа Б. Акунина: “Фандорин – фамилия французская, Фандор, если вы помните, вместе с Жювом охотился за Фантомасом”. Он же пишет, что о творениях Б. Акунина можно сказать, что они “не всерьез, и в то же время крепко сделаны” (Лесин Е. Фандорин и Фантомас // Книжное обозрение. 2000. № 14. С. 16). Это же суждение можно отнести к комедии Б. Акунина “Чайка”.

*Казахстан,
Алма-Ата*



ПОЛИСИНДЕТОН КАК СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФИГУРА

*А. П. СКОВОРОДНИКОВ,
доктор филологических наук*

Полисиндетон, или многосоюзие (от греч. *poly* – много, *syndeton* – связанный) – термин, самое общее значение которого определяется как “принцип построения текста, при котором последующие повествовательные единицы (или их части) присоединяются к предыдущим одним и тем же (обычно сочинительным) союзом” (Кручинина И.Н. Многосоюзие // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М., 1990. С. 302). Вместе с тем отмечается, что “в художественно организованном тексте М[ногосоюзие] одновременно является стилистическим приемом с широким диапазоном экспрессивно-смысловых функций” (Там же). В риторике полисиндетон традиционно определяется как “фигура прибавления (...), основанная на преднамеренном многократном использовании союзов” (Хаззагеров Т.Г., Ширина Л.С. *Общая риторика: Курс лекций. Словарь риторических приемов*. Ростов н/Д, 1999. С. 261).

Определение полисиндетона как стилистической фигуры (фигуры речи) может быть уточнено указанием на то, что он структурно противоположен асиндетону (фигура экспрессивного бессоюзия) и представляет собой избыточный с грамматической точки зрения повтор союзов при соединении или присоединении однородных членов, частей предложения или целых предложений в составе сложного синтаксического целого, придающий высказыванию экспрессивный харак-

тер. Например (избыточные цепочки союзов в этих и последующих иллюстрациях выделены):

“Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, **и** обещать, **и** манить своею близостью” (В. Короленко). Ср.: Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, сверкать, обещать и манить своею близостью; “Много, долго, громко, резко – кто-то едет, и тем теплее спать, тем теснее уют. **И** весь воздух еще не доспал. **И** одеяла не проснулись. **И** сны не свернули крыльев. Спит еще комната” (С. Горный). Ср.: И весь воздух еще не доспал. Одеяла не проснулись. Сны не свернули крыльев. Спит еще комната.

Следует иметь в виду, что иногда понятию полисиндетона придается более узкое значение: он понимается как избыточность однотипной союзной связи только между однородными членами предложения (см., например: Квятковский А.П. Школьный поэтический словарь. М., 1998. С. 188). Однако представляется целесообразным более широкое понимание полисиндетона, включающее повтор союзов не только при соединении однородных членов, но и при соединении нескольких предложений (см., например: Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М., 1996. С. 114), поскольку отношения однородности между членами предложения, частями сложного предложения и предложениями в составе сложного синтаксического целого изоморфны (аналогичны).

Фигуру полисиндетона не следует смешивать с экспрессивными многосоюзными конструкциями, которые фигурами в строгом смысле этого слова не являются. Фигура многосоюзия (полисиндетон) имеет место тогда, когда повторяющиеся союзы (все или частично) с грамматической токи зрения факультативны (иначе говоря, они могли бы быть пропущены без нарушения грамматической правильности высказывания (см. иллюстрации выше). Многосоюзие таких конструкций является прагматически значимым (экспрессивным) отклонением от стилистически нейтрального варианта языковой нормы (структурно необходимого минимума союзов). Однако многосоюзие синтаксической конструкции может быть обусловлено грамматически и носить обязательный, а не факультативный характер (в таких конструкциях союзы нельзя опустить, не разрушив саму конструкцию или не исказив ее смысл). Например: “[Молодой человек] втихомолку от воспитателей, критиков упивается в тесных компаниях разными поп, газ, буз, мыз, груз и прочими сонгами и мотивами (...). Или он крутит видео. **Или**, наоборот, зарылся в архивы и упорнейше ищет, на какой же кузине графа Петра Пафнутьевича Иванова-Апраксина был женат троюродный внук внучатой племянницы князя Ивана Парфентьевича Гагарина. **Или** читает западное. **Или** изучает восточное.

Каббала, дзен. **Или** он смотрит в дебри великой цивилизации инков. **Или** он учит учебник хиромантии. **Или** он... “(Лит. газета. 1987. 13 мая). Этот текст экспрессивен благодаря нескольким использованным стилистическим приемам, в том числе – многократному повтору разделительного союза *или* (сам факт его множественности экспрессивен), который, однако, грамматически здесь необходим и не может быть изъят без разрушения всей конструкции. Такой же грамматически обязательный характер имеет повторяющийся союз *пока* в следующем предложении: «**Пока** писатель все рассуждает о том, как надо и как не надо писать, **пока** иной побойчее стремится забежать вперед и предложить специальный товар, **пока** прирожденные организаторы готовят то русло, по которому только и следует “направить” народный вкус, – народный человек читает все без разбору, что попадает ему под руку» (П. Муратов).

Функция полисиндетона как стилистической фигуры трактуется в специальной литературе по-разному, иногда даже противоречиво. Отмечается, например, что при его помощи “подчеркиваются целеустремленность и единство перечисляемого” (Квятковский А.П. Указ. соч. С. 188), что полисиндетон “автономизирует каждое из составляющих этого ряда” (Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1998. С. 341), что “обилие повторяющихся союзов делает семантическую структуру следующих друг за другом синтаксических явлений особенно прозрачной” (Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). Учебное пособие для вузов) и т.д.

Большинство авторов, пишущих о полисиндетоне, сходятся на том, что полисиндетон подчеркивает и выделяет перечисляемые элементы (слова, части предложения, предложения), повышая их смысловую значимость. По-видимому, это и есть основная функция полисиндетона как фигуры речи, присущая всем его разновидностям во всех стилистических контекстах (речь художественная, публицистическая, ораторская, отчасти научная). Например: “Какое странное, **и** манящее, **и** несущее, **и** чудесное в слове: дорога! И как чудна она сама, эта дорога (...)” (Н. Гоголь); “Ох, лето красное! Любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи” (А. Пушкин); “Псевдокультура ни словом, ни жестом может и не отличаться от культуры, **но** делом, **но** последствием, **но** своею ошибочностью – отличается” (С. Залыгин); “Вот о таком человеке мечтает и такого человека хочет видеть в каждом из нас академик Лихачев. **Поэтому** и поучения, **и** проповеди, **и** наставления. **Поэтому** просветительство – в самом глубоком смысле этого слова. **Поэтому** и популяризаторство” (Лит. газета. 1986. 26 нояб.); “Допустим, художник никому ничего не должен, но больно видеть, как может он, уходя в своесозданные миры, или пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей коры-

стных, **а то и** ничтожных, **а то и** безумных” (А. Солженицын); “Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, **а** в изумляющей глубине ее, **а** в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном (...)” (Ф. Достоевский); “В известной мере повторяется ситуация 20-х годов, когда послереволюционный розовый оптимизм порождал желание глубоко преобразовать не только общественный строй и экономическое устройство, **но и** культуру, **но и** литературный языковой канон” (В. Костомаров).

Приведенные примеры свидетельствуют, что фигура полисиндетона строится не только на основе повтора соединительного союза “И” и противительного союза “НО” (хотя это наиболее частотные его разновидности), но и на основе повтора других сочинительных союзов.

Уже в “Риторике к Гереннию” отмечена способность полисиндетона создавать эффект замедленного действия (Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб, 1996. С. 284), что отмечают и современные авторы (см., например: Новиков Л.А. Искусство слова. М., 1982. С. 94; Кручинина И.Н. Указ. соч. С. 302). Эта функция полисиндетона является факультативной, обусловленной вещественным значением предложения, в котором реализуется эта фигура, и содержанием более широкого контекста. Сравните два контекста, где первый демонстрирует эту функцию полисиндетона, а второй – нет:

... В золотом отдалении
 Укором церковный тревожится звон...
И солнце садится. **И** веет прохлада.
И плещется рыбой вечерней вода.
И липы зовут монастырского сада.
 Где ночи – как миги и дни – как года...

(И. Северянин);

“Обнагленные жадно с гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь – прощальный, поминальный пирог. **И** рвут, **и** глотают, **и** давятся. **И** с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли” (А. Ремизов).

В такой же зависимости от лексического наполнения конструкции, окружающего контекста, стиля и жанра всего произведения у полисиндетона проявляется функция придания речи торжественной тональности (что связано с созданием соответствующего ритма), отмечаемая некоторыми авторами (См., например: Кузнец М.Д. и Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка. Л., 1960. С. 78), эмоциональной приподнятости, а также ироничности:

“... Моих ушей коснулся он, –
 И их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.”

(А. Пушкин);

“Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце (...) и это – как музыка, как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безмерной любовью, от которой хочется **и** плакать, **и** смеяться, **и** петь” (Л. Андреев); “Кто был ничем, тот станет всем. За счет нашего кармана. И напрасно хнычет золотая шеренга Чубайса. **И** Христос, **и** Карл Маркс, **и** Лившиц, **и** братва говорят одно: делиться надо” (Новая газета. 2000. 31 дек. – 6 февр.).

Полисиндетон часто взаимодействует с другими стилистическими фигурами, особенно с парцелляцией, синтаксическим параллелизмом и другими видами повторов:

“Запахло уютом, табакком. Повеяло домом **и** жизнью обожаемою. **И** лаской просимою. **И** любовью” (С. Горный); “... Чтобы найти эти новые русские формы бытия, надо созерцать Россию, как она есть – ее дары, ее опасности, ее нужды, ее силы и слабости; и из нее самой, для нее самой создавать верный уклад, **и** строй, **и** порядок, **и** власть, а не навязывать ей иностранные, инославные, иноплеменные трафареты” (И. Ильин).

Особенно показательна конвергенция полисиндетона и асиндетона – фигур, противоположных структурно, а отчасти и функционально (см. последний пример). Их взаимодействие в едином стилистическом контексте отчетливо выявляет их основное различие: нерасчлененность, “поточность” перечисления объектов в асиндетоне и расчлененность перечислительного ряда, логическая выделенность его компонентов в полисиндетоне; “День ото дня жизнь становится **лучше, интереснее, многообразнее. И честнее. И правдивее. И справедливее**” (Комс. правда. 1986. 14 февр.).

В понятие полисиндетона иногда включают многопредложение – многократное, преднамеренно избыточное использование предлогов: “Необходимо думать **и** о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ **от** нищенства, **от** невежества, **от** бесправия” (П. Столыпин);

“Во всем мне хочется дойти
 До самой сути;
В работе, **в** поисках пути,
В сердечной смуте.
 До сущности протекших дней,
 До их причины,
 До оснований, до корней,
 До сердцевины”

(Б. Пастернак);

“И вот с такими-то богатствами мы оказались **без** леса, **без** пеньки, **без** сала, **без** Солженицына и Бродского, **без** Ростроповича и Эрнста Неизвестного” (Лит. газета. 1990. 25 июля).

Признание многопредложия разновидностью полисиндетона, по-видимому, оправданно, так как этот прием обладает аналогичными функциями, что особенно заметно при их соположении в составе стилистической конвергенции:

“〈...〉 В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, **без** вдохновенья,
Без слез, **без** жизни, **без** любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.”

(А. Пушкин).

Красноярск





Русский язык – фактор сплочения России

ЗАМИР ТАРЛАНОВ,

доктор филологических наук

В XX век русский язык вступил как язык великой, всемирно признанной словесно-художественной культуры, как язык творений Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого, Достоевского и Лескова, Салтыкова-Щедрина и Белинского, Некрасова и Тютчева, Чехова и Горького. Стержнем этой культуры было нравственное усовершенствование человека, воспитание в нем чувства красоты, социальной справедливости, отзывчивости, порядочности, гуманизма.

И в XX же веке, закономерно развиваясь по пути тысячелетнего восхождения, предопределенного исторической судьбой, русский язык достиг своей функциональной вершины в качестве уникального и универсального средства общения между народами на обширном евразийском пространстве (СССР) и в качестве одного из мировых языков.

Век XXI он встретил не только настороженно, но и не без потерь. Евразийское пространство, которому он служил веками, скрепляя и возвышая его, перестало быть единым и общим. Более того, в некоторых частях его русский язык объявлен нежелательным, чуждым и вредным.

Созданная на русском языке литература, признанная ЮНЕСКО одним из трех величайших достижений человечества наряду с Античностью и Возрождением, в силу исторических обстоятельств последних полутора десятилетий оказалась отодвинутой на периферию общественно-культурных потребностей.

Тем самым литература, в которой русский язык наиболее полно реализовал свои выразительные возможности, нравственный потенциал, красоту и мощь, перестала быть для него опорой. Ибо литература остается литературой лишь до тех пор, пока ее читают, пока она удивляет, обогащает, развивает читателя как человека, пока она служит образцом достойной речевой культуры, речевого поведения, художественного вкуса.

В несколько раз сократились переводы на русский язык с других языков Российской Федерации и Евразии, тем самым ослабив его традиционно связующую, объединяющую функцию в межкультурном общении между народами евразийского пространства.

Порожденные людьми и ими же внедренные в официозную речевую практику идеологические штампы, зачастую просто чуждые для строя русского языка, русской культуры, бездумно и бездушно переложены на язык. Затем объявили его языком тоталитаризма, тем самым сея семена недоверия и подозрительности к нему, хотя язык сам по себе не несет никакой ответственности за то, как на нем говорят. Язык при всем том, что представляет собой и тип культуры, мировосприятия, поведения и т.д. – это инструмент. Им можно пользоваться по-разному.

В силу прежде всего наших внутренних экономических и политических причин заметно поколеблены его позиции в мировом масштабе. Число стран, в которых он изучается в школах и вузах в качестве одного из основных иностранных языков, несопоставимо с тем, что было, например, лет 15–20 назад.

Так случилось исторически, что именно период функционального ослабления русского языка совпал с периодом активного продвижения процессов глобализации. Правда, при этом определения глобализации, внятного ответа на вопрос, как она соотносится с развитием национальных культур, с сохранением их своеобразия, не существует. Все пользуются словом-понятием вслепую, не пытаясь прогнозировать возможные результаты реализации его нераскрываемого смысла для разных территорий, которые вместе с живущими там народами принято называть странами.

Насколько можно догадываться на нынешнем этапе, под глобализацией подразумевается распространение неких односторонне-унифицированных стандартов представлений, отвлеченных от национальных культур и традиций и технически опирающихся на Internet. Чтобы понять односторонность этих представлений, достаточно

вдумчиво приглядеться к событиям, например, на российском Северном Кавказе. Главными действующими лицами этих событий являются не только и не столько “лица кавказской национальности”, сколько лица, национальные интересы которых простираются до Каспийского моря. Это всегда хорошо видно по тому, как у них варьируются оценки действий России в Чечне в зависимости от степени податливости России. На этом, в частности, основании можно утверждать, что глобализация – это абсолютизация интересов и претензий какой-то одной страны, но не сообщества стран.

Таким образом, один из важнейших стратегических вопросов, возникающих в связи с глобализацией, – это, в частности, вопрос о языках, о судьбах национальных культур и содержании образования.

Для Российской Федерации – это судьба прежде всего русского языка, его роли и влияния и в России, и за ее пределами. Сигналом для такого рода беспокойства служит отчетливо обозначившаяся тенденция к уменьшению, сокращению функционального пространства русского языка, слишком вольное с ним обращение. Иногда эта вольность доходит до полного безразличия, пренебрежения, нигилизма.

Некоторые в самой России, подобно персонажу Сухово-Кобылина, “бежавшему впереди прогресса”, предлагают, например, перевести русский язык на латинскую графику, тем самым демонстрируя свою готовность перечеркнуть тысячелетнюю русскую культуру, неотделимую от ее собственной письменной традиции.

Другие – за то, чтобы в России государственным языком был английский. Так, будучи на конференции в Саратове в ноябре прошлого года, я, к своему удивлению, услышал, что 30 процентов студентов Саратовского университета не против того, чтобы английский был государственным языком в России (!). Таковы умонастроения какой-то, пусть незначительной, части студентов. Но ведь это будущая интеллигенция, опора национальной культуры! Откуда такая странная идея? На чем она выросла? Ведь Россия никогда не была зоной функционирования английского языка. Не является ли она первой ласточкой действительности идей глобализации? Какими бы странными подобного рода идеи ни казались, не принимать их во внимание – опрометчиво. Ибо они свидетельствуют об утрате или размывании национально-культурного иммунитета.

Или еще пример: на вопрос корреспондента телевидения о том, как по пунктам главный смысл нынешнего школьного образования в России, Председатель Правительства РФ М. Касьянов, загибая пальцы, обозначил эти пункты в следующем порядке: 1) английский язык, 2) компьютеризация, 3) двенадцатилетка. Однако трудно согласиться, что реформа образования может быть сведена к этим трем пунктам. Знание английского языка несколько не может свидетельствовать об

образованности человека: в той же англоговорящей Америке много людей, совершенно необразованных. Парадокс, на мой взгляд, состоит в том, что все три пункта в совокупности абсолютно непригодны для аттестации степени образованности выпускника школы.

О русском языке, реальном языке образования народов России, – ни слова!

Между тем, в современной России и Российской Федерации русский язык предстает в качестве чуть ли не единственного фактора сплочения общества и народов. Другой соизмеримой с ним идеи нет. С этой позиции стратегические задачи, направленные на защиту функционального пространства русского языка в интересах народов Российского государства и распространение глобалистских стандартов, противоположны по их сути. Такой вывод с очевидностью вытекает из анализа культурно-исторической ситуации.

Опорный язык глобализации – английский. В это же самое время русский язык, принимая на себя роль главной опоры, важнейшего фактора сплочения народов и культуры исторической России, не может не быть препятствием на пути подобной тенденции. Их интересы сталкиваются. Пропаганда работает на тот язык, который лучше обставлен материально-финансовыми ресурсами. В этом отношении русский язык безусловно проигрывает. Поэтому каждый считает себя вправе обходиться с ним по собственному усмотрению.

Невнимание к русскому языку, бездумное его шельмование способны еще более разъединить сложившийся при его посредничестве евразийский культурно-исторический феномен.

Это обстоятельство было прекрасно осознано крупнейшим деятелем евразийской культуры Н.С. Трубецким, который писал в его парижской публикации еще в 1927 году: «В евразийском... пространстве народы связаны друг с другом не по тому или иному одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб (выделено автором. – З.Т.). Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже нельзя распустить, так что отторжение одного народа из этого единства может быть произведено только путем искусственного насилия над природой и должно привести к страданиям. Ничего подобного нельзя сказать о тех группах народов, которые лежат в основе понятий панславизма, пантуранизма или панисламизма; ни одна из этих групп не объединена в такой степени единством исторической судьбы входящих в нее народов. И потому ни один из этих “пан-измов” не является прагматически ценным в такой мере, как общеевразийский национализм. Национализм этот не только прагматически ценен, но прямо даже жизненно необходим: ведь мы уже видели, что только пробуждение самосознания единства, многонародной евразийской на-

ции способно дать России – Евразии тот этнический субстрат государственности, без которого она рано или поздно начнет распадаться на части, к величайшему несчастью и страданию всех ее частей» (Трубецкой Н.С. Общевосточный национализм // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. 1995. С. 425–426).

Разрушение СССР и его последствия полностью подтвердили прозорливость ученого. И если не поддерживать, не укреплять сплывающих, созидательных возможностей русского языка как общего связующего звена народов исторической России, процессы разобщения, разъединения российских народов могут принять еще более губительный характер.

Защита русского языка, повышение его роли и авторитета в системе образования всех уровней, в средствах массовой информации, во всех без исключения сферах общественной и государственной жизни в качестве первого шага являются острой необходимостью для народов и государственной безопасности Российской Федерации.

Осознание этой необходимости начинает пробивать себе дорогу. Об этом свидетельствуют, в частности, воссоздание Совета по русскому языку при Правительстве РФ под председательством заместителя Председателя Правительства В.И. Матвиенко (в последние два года он работает регулярно и продуктивно), придание русскому языку статуса второго государственного языка в Киргизии, готовность властей Молдавии принять такое же решение, подготовка Закона о русском языке в Государственной Думе Российской Федерации и др.

Чем скорее это осознают все, тем лучше для всех нас, всех народов России и Евразии. Пренебрежение одним из мировых языков, доступным для всех наших народов, которым практически в той или иной мере владеют все, непростительно. Статус других языков не может и не должен быть здесь помехой.

*Республика Карелия,
Петрозаводск*

Водный – водяной – водянистый

В. И. КРАСНЫХ,

кандидат филологических наук

Паронимы *водный* и *водяной* существуют в русском языке в течение трех веков (впервые они были отмечены в Лексиконе Ф. Поликарпова в 1704 г.). Прилагательное же *водянистый* получило “лексикографическую прописку” несколько позднее – в Лексиконе 1762 г.

Начнем с прилагательного *водный*. МАС и БАС-2 дают только одно общее значение этого слова: “Относящийся к воде, связанный с ней”. Однако БАС-2 приводит еще три оттенка этого значения. К сожалению, в Словаре Ожегова – Шведовой, в “Большом толковом словаре” С.А. Кузнецова и в “Русском толковом словаре” В.В. и Л.Е. Лопатиных это прилагательное включено в словообразовательное гнездо заголовочного слова *Вода* без толкования. Нам представляется более целесообразным выделить такие два значения этого слова:

1. Относящийся к воде, связанный с ней.
2. Связанный с использованием воды и водоемов (естественных и искусственных).

В круг существительных, сочетающихся с этим прилагательным в первом значении, входят следующие слова: *поверхность, стихия, преграда, среда, струя, гладь, поток, простор, коридор, рубеж, пространство* и др. Вместе с прилагательным и соответствующими глаголами они образуют, в частности, такие глагольно-именные словосочетания: *бороться с водной стихией; преодолеть водную преграду, водный рубеж; окинуть взглядом водный простор, водную гладь; скользить по водной поверхности; обитать в водной среде* и т.д.

Во втором значении рассматриваемый пароним образует с существительными следующие именные словосочетания: *водный раствор, водная эмульсия, водная энергия, водные процедуры, водный стадион, водная база, водные виды спорта, водная дорожка, водное поло, водные лыжи, водный велосипед, водные запасы, водные ресурсы, водный режим (почвы, растений), водный баланс, водный дефицит, водный кадастр, водный путь, водный транспорт, водная магистраль, водное законодательство* и т.д. В свою очередь, эти именные словосочетания могут входить в состав таких глагольно-именных словосочетаний, как *приготовить водный раствор чего-л.; принимать водные процедуры, заниматься водными видами спорта; обладать большими водными ресурсами; испытывать водный дефицит, поддерживать, регулировать водный баланс; использовать водный*

путь, водный транспорт; внести поправки в водное законодательство и др. Проиллюстрируем употребление прилагательного *водный* примерами из художественной литературы и периодики:

“С лица планеты исчезли смывые *водной стихией* густые леса, обработанные поля и прибрежные города” (Известия. 1994. 31 мая); “Представьте себе пронизанный светом сосновый бор, покачивание лодки на *водной глади...*” (Домашний очаг. 1999. Февраль); “Он (Н. Филатов) добавил, что вибрион холеры, обитает исключительно в *водной среде...*” (Метро. 1999. 11 марта); “Вальков еще раз окинул взглядом *водный простор* и обнаружил в нем новые подробности” (Ю. Нагибин. На тихом озере); “*Водный путь* уже не дает прежних доходов” (Известия. 1994. 26 мая); “Видится эта парочка в основном на чемпионатах по *водным видам спорта* или летает друг к другу на выходных” (Домашний очаг. 1999. Май); “Короче, ревности на *водной дорожке* и за ее пределами хватало” (Комс. правда. 1997. 19 дек.); “У берега покачиваются *водные велосипеды* и даже яхты...” (Известия. 1994. 7 июля); “Президент также пообещал помощь на развитие *водного транспорта*” (Известия. 1994. 18 июня); “Оказывается, в Мшаре, славной своими *водными богатствами*, умирают озера” (Ю. Нагибин. И вся последующая жизнь).

Перейдем к парониму *водяной*. Его толкование содержится в МАС и БАС-2. В указанных выше однотомных толковых словарях это прилагательное, как и его пароним *водный*, также дается без толкования в словообразовательном гнезде существительного *Вода*. Если отбросить некоторые частности, то лексические значения этого слова можно сформулировать следующим образом:

1. Состоящий из воды, содержащий воду, образуемый водой (*водяной вал, поток, столб, балласт; водяные брызги, пары; водяная струя, капля, пыль*).

2. Осуществляемый с помощью воды; приводимый в движение водой (*водяное отопление, охлаждение; водяная мельница, турбина; водяное колесо; водяной двигатель*).

3. Живучий, произрастающий в воде, обитающий на воде, около воды (*водяные существа, насекомые; водяная крыса, курочка, дичь; водяные растения; водяной орех, водяная лилия*).

Как видим, в третьем значении прилагательное *водяной* является составной частью некоторых ботанических и зоологических наименований. Следует упомянуть и еще одно устойчивое выражение с паронимом *водяной* – *водяные знаки*. Это видимые на свет изображения на денежных купюрах, марках и т.п. Приведем ряд примеров:

“Подставьте свое тело бурлящим *водяным потокам*. Пойдите под падающими струями небольших водопадов...” (Домашний очаг. 1999. Июнь); “Вместе с *водяной пылью* и градом на балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сушня и песок”

(М. Булгаков. Мастер и Маргарита); “Через тонкую *водяную струю* можно пропускать еще более тонкий луч лазера” (Известия. 1994. 25 окт.); “Во всех моделях этого изобретения применен принцип *водяного колеса*” (Известия. 1994. 1 июня); “Маша любила смотреть, как в этой воде шныряли какие-то *водяные существа*” (К. Паустовский. Бабушкин сад); “Они (берега) густо поросли камышом, кувшинками и *водяными лилиями...*” (Ю. Нагибин. На тихом озере); “На берегах этих рек в глубоких норах живут *водяные крысы*” (К. Паустовский. Мещорская сторона).

Интересно отметить, что некоторые существительные с паронимами *водяной* и *водный* в первом значении могут образовывать синонимические словосочетания: *водяной поток* – *водный поток*, *водяная струя* – *водная струя*. В настоящее время более употребительными являются словосочетания *водяной поток*, *водяная струя*.

Что же касается третьего паронима *водянистый*, то практически все толковые словари (как многотомные, так и однотоменные) выделяют у него три значения:

1. Содержащий значительное или излишнее количество воды, влаги (*водянистые ягоды*, *водянистый картофель*, *водянистое болото*, *водянистый снег*).

2. Бесцветный, слабоокрашенный, напоминающий по цвету воду (*водянистые краски*, *глаза*; *водянистый взгляд*).

3. *Перен. Разг.* Расплывчатый, многословный, малосодержательный (*водянистая статья*, *лекция*, *диссертация*, *монография*; *водянистый доклад*, *стиль*; *водянистые стихи*).

Проиллюстрируем употребление паронима *водянистый* несколькими цитатами: “Прежде чем готовить *водянистый* картофель, положите его на ночь в теплое место, чтобы он подсох” (Работница. 1998. Октябрь); “Ровная покатошь, по которой мне до сих пор приходилось бежать, перешла в низменное *водянистое болото*, поросшее редким сосновым лесом” (А. Куприн. На глухарей); “От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты *водянистого* мартовского *снега*” (К. Паустовский. Исаак Левитан); “Парень на секунду смолк, взглянул на меня *водянистыми глазами*, в которых застыло удивление...” (А. Кивинов. Страхочный вариант); “Там полки замирали, стоя на одной ноге и вытянув носки под *водянистым* и бешеным *взглядом* императора Павла” (К. Паустовский. Орест Кипренский); “*Доклад* был весьма *водянистым* – общие слова и мало конкретных фактов” (Из разговора).

Подводя итоги, можно констатировать, что паронимы *водный* и *водяной* более употребительны и имеют более широкий круг лексической сочетаемости с существительными, чем третий член паронимического ряда *водянистый*. Прилагательное *водянистый* не образует паронимических или синонимических словосочетаний с другими членами ряда.



НЕ... – слитно или раздельно?

*Е. В. БЕШЕНКОВА,
кандидат филологических наук*

В продолжение темы о слитном/раздельном написании *НЕ* (см.: Русская речь. 2002. № 4) в данной заметке речь пойдет о словах, которые без *НЕ* не употребляются. Такие слова можно разбить на три группы: во-первых, личные формы глагола, во-вторых, деепричастия и их производные, в-третьих, отдельные слова.

К глаголам, не употребляющимся без *НЕ*, относятся следующие: *не наздравствуешься, не нарадоваться, не преминуть, не терпится, не поздравиться, не заладиться, не обессудь(те), не чаять*. Некоторые из приведенных глаголов сохранились в одной или нескольких формах, другие – свободны в формообразовании. Есть и такие глаголы, употребление которых без *НЕ* ограничено, или ограничено употребление какого-либо лексико-синтаксического варианта: *не видать милого друга (видать милого друга), не замедлят явиться (замедлят явиться)*. У пишущих не вызывает сомнений правописание этих слов. Неупотребляемость слова без *НЕ* является главным критерием, при этом ошибок пишущие не делают, хотя в словарях раздельное написание этих глаголов не закреплено.

Среди деепричастий слова, не употребляющиеся без *НЕ*, получили разную орфографическую кодификацию. Некоторые из них попали в сферу внимания орфографистов, и уже закреплено их слитное написание, для других слитное написание пока расценивается как ошибочное, третьи еще не попали в сферу внимания кодификаторов.

Так, *нехотя* считается наречием, чем объясняют его слитное написание. Два написания словари дают для слова *(не)медля*: слитное для наречия и раздельное для деепричастия (пример из Орфоэпического словаря: *не медля ни минуты*). Однако употребление слова как деепричастия сомнительно (? *не медля с написанием диссертации, он вы-*

игрывает время). Поэтому более логичной представлялась бы рекомендация писать раздельно наречие в сочетании с частицей *НЕ*, а не деепричастие. Однако *не спеша* тоже можно считать наречием, так как оно потеряло глагольную модель управления (*?Не спеша на встречу, он мог поговорить со студентами*). Употребляется оно в этой функции только с отрицанием, вряд ли кто-то скажет: *Он ел спеша*. Его особый статус подчеркивается тем, что раздельное написание отмечается орфографическими словарями, чего не делается для обычных деепричастий. Однако слитное написание словарями не признается, хотя в текстах и встречается. То есть пишущие и без помощи словаря осознают особое положение этого слова, и поэтому эта ошибка по сути ошибкой не является. Узус в данном случае абсолютного оправдан, он лишь опережает действия кодификаторов.

Не попадает в сферу внимания орфографистов и не испытывает колебаний в написании другая форма деепричастия, перешедшая в наречие: *не мешкая*.

Колебания в написании исходного деепричастия (*не*) *взирая* на наблюдаются и закрепляются словарями еще с XIX века. Так, словарь Даля дает слитное написание для значения “презирая, не обращая внимания”. Словарь Ушакова устанавливает для всех значений и оборотов вариантное написание при предпочтении раздельного (*Невзирая на хлопоты, дело не увенчалось успехом. Не взирая ни на что. Не взирая на лица*). Разнообразие кодификаций наблюдается и в словарях, и в пособиях последнего времени. Словарь Ожегова дает *Критика невзирая на лица*; Орфоэпический словарь: *невзирая на*, предлог (*невзирая на лица*), однако Д.Э. Розенталь рекомендует раздельное написание: *Критиковать не взирая на лица* (Розенталь Д.Э. Вопросы русского правописания. М., 1970. С. 107). Вслед за ним и Я.В. Темиз отмечает: «Невзирая на ... всегда пишется слитно, кроме одного исключения, ставшего фразеологизмом – “не взирая на лица”» (Темиз Я.В. Секреты русской орфографии. М., 1999. С. 33). Причина возникновения разногласий очевидна: деепричастие теряет глагольные признаки, утрачивает связь с исходным глаголом и переходит в другую морфологическую категорию (в данном случае в предлог). С нашей точки зрения на современном этапе нет основания оставлять во фразеологизме раздельное написание.

Опять-таки не попадают в сферу внимания орфографистов и не меняют своего написания другие деепричастия, ограниченные употреблением во фразеологических сочетаниях, это *не сводя глаз*, *взгляда*; *не обинуясь*.

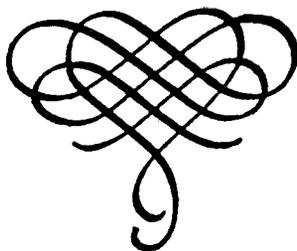
В третью группу выделены отдельные слова. К ним относятся разные предикативы. Так, словари расходятся в написании слов (*не*)*лишне*, (*не*)*прочь*. Словарь Ушакова рекомендовал писать *нелишние* слитно, этой рекомендации придерживаются учебники Д.Э. Розенталя,

Словарь русского языка в 4-х томах дает раздельное написание, в Орфографическом словаре дается звездочка, то есть написание зависит от контекста. В современных текстах встречается и то и другое написание вне очевидных контекстов, хотя преимущество явно отдается слитному написанию. *Было бы не лишне познакомиться с ней. Эх, нелишне бы и чарочку пропустить. Попытаться взглянуть глубже все же не лишне. Коли что, и поперек спины – нелишне, а? Нелишне, по-моему, и подразнить старуху. Ввиду того, что нам частенько придется приезжать с Олая в Ош, то, по-моему, нелишне поставить на этом большом переходе хоромы, в которых можно было бы передохнуть. И все же нелишне было бы напомнить, что этот план вырисован из чтения не одного только Пушкина. Вам нелишне будет узнать, что дамам целуют руки.*

Не употребляется без *НЕ* и слово *(не)прочь*. Его слитное написание принято за норму только в Орфоэпическом словаре, хотя в текстах оно встречалось и ранее (*Она была бы непрочь, чтобы этот перерыв в драме длился как можно дольше*).

Не употребляются без *НЕ* и предикативы *не в пример, не в подъем, не в зачет, не в духе, не в упрек, не в счет*, или без *НЕ* они имеют другое значение (ср. *в пример тебе, мне это в подъем и в зачет, тебе это в упрек сказано*). Но раздельное написание этих предикатов обусловлено вмешательством нормализаторов. Еще Словарь Ушакова рекомендовал слитное написание *невзачет, невпример* (как и *невтерпеж, невмоготу, невпопад*), но современные словари дают раздельное написание (как и *не в радость, не вовремя*). Правописание, предлагаемое Словарем Ушакова, поддерживается тем, что в его словаре наречие *взачет* пишется слитно).

Таким образом, разные группы слов, без *НЕ* не употребляющихся, по-разному охватываются кодификаторами. Так, для предикативных форм глагола словарями не фиксируется ни требуемое по правилам написание, ни традиционное, закрепившееся в узусе, то есть они не имеют “ошибочных” написаний. И это не вызывает каких-либо недоумений. Неглагольные предикативы, как и предикативы, допускающие употребление без *НЕ*, колеблются в написаниях и в кодификации. Дееспричастия при потере глагольных признаков, т.е. при переходе в наречия, имеют явную тенденцию к слитному написанию.

Язык рекламы**“Увещательная коммуникация” в СМИ**

*Н. И. КЛУШИНА,
кандидат филологических наук*

Одно из секционных заседаний международной конференции “Журналистика и культура русской речи на переломе тысячелетий”, проведенной кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в апреле 2002 года, было посвящено роли рекламы в современных средствах массовой информации. Работой секции “Реклама в СМИ” руководил президент Российской ассоциации рекламных агентств (РАРА) В.А. Евстафьев. Вступительный доклад, в котором он призвал собравшихся лингвистов и рекламистов-практиков всесторонне и конструктивно обсудить наиболее проблемные вопросы современной рекламной деятельности, стал камертоном для последующих выступлений.

В своих сообщениях собравшиеся подвергли рекламные тексты тщательному лингвистическому анализу. На заседании царил дух объективности. Рекламный текст рассматривался не только как поставщик многочисленных языковых ошибок, но и как источник выразительных ресурсов русской речи. Не разрушительная критика, а конструктивный анализ – вот инструмент в изучении “увещательной коммуникации”, как все чаще называют рекламу.

“Рекламные тексты входят в языковой фонд, становятся узнаваемыми, цитируются, а следовательно, очень активно влияют на формирование языковой нормы. Поэтому в наши задачи входит выяснение того, каковы механизмы влияния рекламного языка на языковую норму и каким образом возможно регулировать этот процесс”, – отметила О.А. Ксензенко, заведующая кафедрой иностранных языков Международного института рекламы.

Но языковая норма в рекламе очень часто нарушается. И здесь нужно учитывать мотивы подобного нарушения. Ведь известно, что такие нарушения нередко становятся основой “языковой игры” с целью повышения эффективности рекламного сообщения. Однако не следует забывать о том, что порой отклонения от нормы объясняются несоблюдением (или незнанием) правил грамматики и орфографии. И если свежие стилистические решения в рекламной деятельности находят безусловную поддержку в среде лингвистов, то ошибки, связанные с неоправданным нарушением общепринятых культурно-речевых норм, вызывают особую озабоченность, так как известная навязчивость современной российской рекламы способствует распространению и закреплению подобных речевых “аномалий” в массовом сознании.

Эффективным инструментом создания новых продуктивных значений, которые повышают как эстетическую ценность, так и “продающую способность” рекламы, могут быть каламбуры. Например: “Поступи правильно” (реклама Университета Наталии Нестеровой) или “сильный пол” (реклама фирмы, торгующей паркетом). По мнению М.И. Никитина (МГИ им. Р.Р. Дашковой), подобных удач в современной отечественной рекламе не так много, но сам факт их появления примечателен и не может не радовать своей оригинальностью. Это означает, что отечественная реклама, по крайней мере, в лучших своих образцах, начинает успешно осваивать родной язык и, подобно хорошей литературе, становится областью демонстрации его богатых возможностей.

Одним из выразительных средств в рекламе является метафора. Исследовав тематические группы метафор в рекламе, П.Б. Паршин наиболее широко распространенными считает те из них, источником для которых является спорт, так как скорость, темп, победа востребованы в рекламе, так же, как и в соревнованиях. А вот военная метафора, напротив, почти не представлена в рекламе, и это понятно: ведь реклама – “искусство обольщать”, а не пугать потребителя.

Но часто в погоне за экспрессивностью рекламного высказывания его создатели нарушают не только языковые, но и этические, моральные нормы, забывая о своей ответственности перед обществом.

Е.С. Кара-Мурза (МГУ им. М.В. Ломоносова), например, считает, что, ориентируясь на потребительские предпочтения, культурный и образовательный уровень потенциальных покупателей, рекламисты выбирают и систему аргументов, и манеру высказывания (например, используя молодежный жаргон). Но такие стилизованные тексты, распространяемые по массовым каналам, часто раздражают широкую аудиторию, как уже ставший притчей во языцех слоган “Не тор-мози, сникерсни!”.

Проанализировав конкретные примеры нарушений языковых норм (орфоэпических, орфографических, словообразовательных, синтакси-

ческих), Е.С. Кара-Мурза показала, как игнорируется падежная система (многие слова перестают склоняться и передаются латиницей), активизируются не свойственные русскому языку модели (например, “советы от Масыни” – вместо “советы Масыни”) и др. Она выявила те экстралингвистические факторы, которые влияют на выбор языковых средств и на предпочтение приемов изложения. Это и стилистическая мода, и не самая высокая языковая и коммуникативная компетенция коллективного ратора, и фактор ученичества. Последний, в частности, проявляется в том, что “эталоном рекламного творчества считаются зарубежные тексты, созданные преимущественно в американском культурном ареале и на английском языке. Отсюда и воспроизведение стилистических особенностей иноязычной рекламы (прежде всего это относится к текстам, звучащим на радио и в телеэфире), и неадекватный перевод на русский язык текстов, подготовленных западными рекламистами, и более того, ориентация на манипулятивные способы увещевания, в том числе основанные на агрессивных НЛП (нейро-лингвистическое программирование)-стратегиях”. Беда в том, что сегодня многие выпускники вузов, пришедшие в рекламные агентства, не могут создать эффективный и грамотный текст.

Получение рекламистами необходимых филологических знаний, а также конкретных навыков в создании корректных речевых произведений – назревшая проблема, требующая отдельного рассмотрения.

Речевой этикет

Общение врача с больным с точки зрения риторики

ЧЖАН ЛИЛИ

В отношениях врача и пациента, как правило, складывается своеобразный “моральный микроклимат”. Здесь важны неповторимые нюансы общения двух личностей, диалог которых ведется на совершенно определенной нравственной основе – авторитетности врача, с одной стороны, и доверии к нему пациента, с другой, то есть, один ждет от другого помощи, облегчения своих страданий, другой изыскивает пути более рационального оказания ее. Чтобы это общение было продуктивным и оправдывало ожидания больного, врач должен уметь устанавливать контакт с больным – а это уже из области речевого искусства. Владение мастерством установления и поддержания контакта с больным является одной из основных сторон профессии врача. Оно не только полезно для каждого специалиста, но и украшает его, укрепляет его авторитет. Практика свидетельствует: чем выше уровень речевого искусства врача, тем легче ему общаться с больным.

Взаимоотношения между больным и врачом зависят не только от индивидуальных особенностей больного, его психики, но и от личности и поведения врача, его общей и профессиональной культуры. Прямая обязанность врача – разрушить психологическую преграду в контакте с больным, вызвать его доверие, создав обстановку участия и теплоты. Обратим внимание на то, что завоевание доверия всегда считалось главной целью ратора (оратора) как участника речи.

Как врач слушает больного

Особенности беседы врача с больным заключаются во внимательном выслушивании жалоб и стремлении понять переживания больного. Умение выслушать помогает врачу получить самую необходимую информацию о больном. Кроме того, во время беседы больной успокаивается, снимается его внутренняя напряженность, происходит своеобразное лечение беседой.

Правила для слушающего представляют собой определенную последовательность действий, которые рекомендуются для того, чтобы добиться успеха в общении.

Врач должен выслушать и изучить каждое высказывание больного, не перебивая его, лишь короткими репликами и мимикой показы-

вая свой интерес к тому, что говорит больной. Если в этом есть надобность, спокойно возразить, проявляя тактичность и сдержанность.

Как говорит врач

Общие правила для говорящего прежде всего предупреждают об опасности вреда, который может причинить слово. “Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь”. Эта пословица подчеркивает, как важно внимательно следить за своими словами. А врачу нужно быть особенно осторожным в беседе с пациентом.

Больные нередко делятся своими переживаниями. Опытный и умный медицинский работник всегда найдет теплое и ободряющее слово. Между больным и врачом в таких случаях часто возникает человеческое взаимопонимание. Такое отношение поднимает настроение, отвлекает человека от мрачных мыслей о возможном неблагоприятном исходе заболевания. Необходимо помнить, что медицинские работники любого профиля должны врачевать не только тело, но и душу. Поведение и реакция врача должны оказывать на больного успокаивающее действие. Огромное значение при этом имеют тон речи, словесная форма и эмоциональная окраска.

Каким должен быть тон врача? Общий тон беседы должен быть серьезным, но спокойным и уверенным: больной должен убедиться, что установленный диагноз не обескураживает врача, он не отмахивается от страхов, а просто не разделяет их и ясно представляет себе, что надо делать. Следует избегать фамильярности, резкого тона в разговоре – они мешают созданию нормальных отношений и контакта между врачом и больным. А административно-холодный тон врача может вызвать у больного тревогу за свое состояние.

Как расспрашивать больного

Что же надо сделать, чтобы, с одной стороны, получить представление о внутренней жизни больного, а с другой – не вызвать у него неприязни или протеста своим вроде бы неуместным любопытством? Выполнить эту задачу обычно легче, чем кажется на первый взгляд. Достаточно задать всего несколько простых и внешне нейтральных вопросов, которые больной отнюдь не посчитает лишними, не относящимися к делу, но которые в то же время не вызовут у него подозрений.

Больной человек часто не знает, какие детали его рассказа по-настоящему важны для диагноза и лечения, а какие не имеют к этому никакого отношения. При этом надо позволить больному в течение двух-трех минут свободно рассказать о том, что он считает нужным. Затем, особенно если рассказ слишком беден нужной информацией,

надо начать четко задавать конкретные, простые вопросы. Например: “А какая была боль – схватками или постоянная?”, “Какого цвета мокрота – желтая или серая?”, “Что вы называете головокружением, вас пошатывало, как пьяного, или все кругом вращалось, как на карусели?”. Разочарование больного быстро пройдет, как только он увидит, что врач вовсе не равнодушен и прерывает его не потому, что спешит, а просто его интересуют какие-то другие подробности, которыми сам пациент не придает значения.

Врач должен уметь находить такие вопросы, которые, с одной стороны позволяют прервать бесконечное словоизвержение, а с другой – помогают выявить дополнительные детали, важные для дальнейшего лечения. Вопросы, задаваемые больному, всегда должны быть ясными и простыми, иначе тот, не поняв и постеснявшись переспросить, даст неправильный ответ и тем собьет врача с правильного пути.

Вопрос, похожий на подсказку, имеет характер внушения: “А боль отдавала в левую руку?”. Вместо того, чтобы прямо спросить “Есть ли у вас одышка при ходьбе?”, лучше видоизменить фразу: “Если вы опаздываете, можете ли вы добежать до остановки или быстро перейти улицу?”. Другой вопрос: “Что же мешает: вы устаете, или ноги болят, или одышка появляется, или сердце начинает сильно биться?”. В этом примере вопрос является альтернативным: он дает возможность выбрать ответ. Подобные вопросы особенно ценны тем, что позволяют избежать неправильных ответов, вызванных внушением или непониманием.

Внешнее спокойствие больного может быть всего лишь маской, скрывающей его испуг, отчаяние, тоску. Задавать вопросы больному нужно деликатно. Если сразу спросить: “Как вы считаете, вы нервный человек или нет?”, “Не испытываете ли вы беспричинный страх или тревогу?”, “Как ваше настроение?” и т.п., то больной может обидеться на врача и дать неправильные ответы.

Лучше начать с вопросов: “Как вы спите, хорошо или плохо?”, “Легко ли вы встаете утром?”, “Когда вы чувствуете себя лучше, бодрее – утром, днем или вечером?”, “Бываете ли вы в кино, в гостях или вам никуда не хочется идти?”, “Часто ли болит голова?”, “Бывает ли у вас внутренняя дрожь, вроде озноба, какое-то напряжение?”. Только получив утвердительные ответы на какие-то из этих вопросов, врач сочувственно говорит: “Вы, наверное, часто нервничаете и тревожитесь ... А настроение-то как у вас – подавленное? Ничего не хочется?”. При такой последовательности беседы больной чувствует, что врач интересуется не только болезнью, но и его душевным миром, его заботами; он проникается доверием и благодарностью к врачу, видит в нем человеческое участие. Врач лечит не только болезнь, но и больного.

При беседе больной нередко насторожен и тревожен, поэтому врач должен контролировать свои высказывания и учитывать впечатление, которое он оказывает на больного.

Этические и речевые требования в процессе обучения студентов

Формирование этико-деонтологических принципов и мировоззрения будущего врача и основ его профессиональных знаний по существу начинается с момента поступления в медицинский институт.

Любовь к благородной профессии врача необходимо прививать студентам с первых дней их учебы, используя для этого не только беседы, занятия в аудитории, но и возможные наглядные средства. Студенты должны постоянно чувствовать атмосферу высокой медицинской культуры. Эта культура включает в себя как необходимый компонент владение культурой речи в широком смысле. Преподаватели должны следить за тем, чтобы в больничных и поликлинических условиях студенты четко выполняли установленные нормы медицинской этики и деонтологии. Деонтология – это учение о профессиональных и моральных обязанностях и правилах поведения медицинского работника, главным образом, по отношению к больному.

Как подойти к больному? С чего начать разговор? На первых этапах общения с ним – это преодоление робости и смущения. Для этого, конечно, надо уметь видеть, анализировать, быстро ориентироваться, вступив в беседу. Студент еще старается копировать во всем педагога: в манере говорить, в формулах начала и продолжения диалога с больным, в тоне разговора. Общение с больным требует определенного психологического настроя. Каждый студент должен знать это и в процессе учебы овладевать мастерством установления контакта и общения с больным.

При встрече с больным необходимо в первую очередь поздороваться и попросить разрешения на беседу. Всегда целесообразно представиться. Необходимо попытаться расположить больного к общению и повести беседу в приятном для него аспекте. Следует поинтересоваться самочувствием, аппетитом, ритмикой сна, спросить, на что больной жалуется. Стремление выслушать всегда располагает к откровенной беседе.

Будущий медицинский работник должен овладеть и искусством слушать. Внимание способствует установлению хорошего контакта и взаимопонимания, доброта, вежливость, способность к состраданию могут принести больному не меньшее облегчение, чем назначение определенных лекарственных средств.

Таким образом, профессиональная деятельность врача оказывается на стыке между медициной как наукой и риторикой как искусством.

*Китай,
Харбин*



**Петр
Алексеевич
Алексеев
(1727–1801)**

В ряду выдающихся деятелей русского просвещения XVIII века фигура Петра Алексеева во многом примечательна своеобычностью натуры, яркостью темперамента, богословскими и вообще научными познаниями, живым, неподдельным интересом к отечественной истории и ее памятникам, наконец, своими литературными и лексикографическими опытами. Последнее в большей части интересно и нам, филологам XXI века, и, как ни странно, во многом поучительно.

Но прежде остановимся на датах его биографии. П.А. Алексеев родился в Москве в 1727 году. Его отец был пономарем замоскворецкой церкви св. Николая (Венгеров С.А. Алексеев Петр Алексеевич // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. I. СПб., 1886. С. 393). А.Н. Корсаков, публикатор его бумаг и один из первых биографов, пишет, что “без всякой протекции в начале он сумел создать себе в обществе такое положение, которое не дается без особенных способностей” (Корсаков А.Н. Петр Алексеев, протоиерей Московского Архангельского собора (1727–1801) // Русский архив. Т. 2. 1880. С. 153). И это действительно так. Первоначальное образование он получил в славяно-греко-латинской академии. В 1752 г. его определили дяконом, в 1857 г. – священником Архангельского собора в Москве, а позднее, с 1759 года он занимает должность катехизатора при Императорском Московском университете, оставаясь в ней до кончины. В 1762 году П.А. Алексеева переводят ключарем в Успенский собор, а в 1771 г. архиепископ Амвросий (Зертыс-Каменский) назначил его протоиереем Архангельского собора. В 1783 г. Российская Академия наук почтила его избранием в свои члены. Скончался П.А. Алексеев 22 июля (по старому стилю) 1801 г. и похоронен в Донском монастыре.

Для того времени, остро регламентировавшего характер отношений в среде духовенства, к которой он принадлежал, П.А. Алексеев был более чем прогрессивен. Остается поражаться также и широте его познаний, и географии знакомств, причем весьма влиятельных, и тем многочисленным “борениям”, в центре которых он часто оказы-

вался. Еще в начале своей пастырской деятельности (и этот факт отмечают все его биографы) он выступил противником главенства монашества в делах церкви, а “к действительному существованию в монашеской среде иноческого аскетизма и смирения (...) относился скептически” (Венгеров С.А. Указ. соч. С. 394). Естественно, что такие взгляды не могли устроить консервативное большинство, привыкшее повелевать белым духовенством. Начались доносы, разбирательства, процессы... Через все это пришлось пройти П.А. Алексееву.

В биографических данных ученого-богослова немало и других показательных фактов. Так, по словам Г.Г. Лихоткина, протоиерей Петр Алексеев «в гонениях на кружок Н.И. Новикова выступал в роли добровольного агента-доносителя, ибо видел в масонах “секту еретиков и раскольников”. По письму А[лексева] от 17 фев[аля] 1785 [г.] духовнику Екатерины II И.И. Панфилову был запрещен ряд масонских сочинений, изданных новиковским кружком» (Лихоткин Г.Г. Алексеев Петр Алексеевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 28). Затем последовали его письма кабинет-секретарю императрицы А.В. Храповицкому, московскому губернскому прокурору М.П. Колычеву и московскому главнокомандующему А.А. Прозоровскому. Все это привело “к разгрому московского просветительского центра и аресту в 1792 [г.] Н.И. Новикова” (Там же).

П.А. Алексеев участвовал в процессе над бунтовщиком Пугачевым “со товарищи”. Причем, по его словам, он сумел их убедить в несправедности своих деяний. Так, в “покорнейшем репорте” епископу Крутицкому Самуилу он пишет: “По порученной мне от вашего пресвященства должности сего генваря 9 числа [1775 г.] известных злодеев, Пугачова (так в тексте. – О.Н.) с товарищи, осужденных на смерть, увещевал я именованный, приведив в истинное признание и раскаяние, кои, кроме Перфильева, с сокрушением сердечным покаялись в своих согрешениях перед Богом, по таинству христианскому и властью пастырского вашего пресвященства чрез меня недостойно разрешены от церковной анафемы (...)” ([Корсаков А.Н.] Бумаги протоиерея Петра Алексеева // Русский архив. 1882. № 3. С. 70).

П.А. Алексеев немало сделал для сохранения и приумножения памятников русской старины, проявил себя как ревностный архивист и “копиист”, не раз присылал расшифрованные им фрагменты древних текстов А.И. Мусину-Пушкину и другим собирателям древностей. Так, в одном из писем синодальному обер-прокурору он сетует о пропаже ценных летописей: “В старину бы это сочли за чудо, но ныне нам стыдно на патериках утверждаться. Я слышал, что 12 древних российских летописей по указу не в давних годах браны были в университет и оттуда возвращены в Синодальную библиотеку, однако из них самая лучшая, сказывают, между рук исчезла” (Там же. С. 84).

Об учености П.А. Алексева свидетельствует и недюжинный литературный талант. Он неоднократно выступал с речами и историко-богословскими работами. Из них наиболее известны следующие: Речь о достоинстве и пользе катехизиса. М., 1859; Слово благодарственное Императрице Екатерине II при освящении московского Архангельского собора. М., 1772; Рассмотрение словесной старопечатной книги Апостола, которая исправлена доктором Франциском Скориною из Полоцка (1783) и др. Кроме этого, П.А. Алексеев выпустил несколько переводных сочинений, часть его работ до сих пор находится в рукописях (см. подробнее о его деятельности также: Розанов Н. Петр Алексеевич Алексеев, протоиерей Архангельского собора в Москве, и его время // Душевнополезное чтение. Ч. 1. М., 1869. С. 11–26).

Работа по составлению словарей и разного рода лексиконов в XVIII веке была нередкой – от карманных словотолкователей до подбодий научных трудов. Многие из них, к слову сказать, так и остались до сих пор неопубликованными и неизученными. Те же, что были изданы в то время, канули в лету и известны лишь небольшому числу специалистов, занимающихся историей предмета. В.В. Виноградов сочувственно заметил по этому поводу: «История толковых словарей русского литературного языка начинается только с XVIII в. Официально она открывается знаменитым “Словарем Академии Российской”. Но созданию этого толкового словаря предшествовала длительная работа русских литераторов и лексикографов над другими типами словарей. Значение этой подготовительной работы в истории русского просвещения, в истории русской филологической культуры очень велико» (Виноградов В.В. Толковые словари русского языка // Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 210).

В науку вошли и оказали значительное влияние на развитие филологии, лексикографического труда только несколько таких удачных образцов. В их числе, пожалуй, первым и стоит “Церковный словарь...” П.А. Алексева (два других словаря вышли позднее: “Словарь Академии Российской” двумя изданиями в 1789–1794 гг. и 1806–1822 гг. и “Общий церковно-славяно-русский словарь...” П.И. Соколова (ч. 1–2. СПб., 1834)). Он был предтечей толковых словарей *русского языка*, единственным в своем роде *авторским* трудом столь высокого качества, выдержавшим четыре (!) издания и составленным к тому же духовным лицом. Его полное название в первом “тиснении” (1773 г.) таково: “Церковный словарь, или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в Священном Писании и других церковных книгах, сочиненный Московского Архангельского собора протоиереем и Московской духовной консистории членом Петром Алексеевым, рассматриванный Вольным российским собранием при Императорском Москов-

ском университете и изданный по одобрению Святейшего правительствующего Синода конторы” (М., 1773, с “Дополнением...” – М., 1776, и “Продолжением...” – М., 1779; 2-е изд. Ч. I–III. СПб., 1794; 3-е изд. – СПб., 1815–1818; 4-е изд. Ч. I–V. СПб., 1817–1819).

Первое издание, как и последующие, открывается посвящением государыне императрице Екатерине Алексеевне, в котором автор пишет: “Любовь к российскому слову и усердие к распространению на российском языке полезных знаний побудили членов и участников упомянутого собрания (Вольное российское собрание. – *О.Н.*) соединиться в сие общество...” (Алексеев П.А. Церковный словарь... М., 1773. С. VI; нумерация римскими цифрами наша, в подлиннике отсутствует), стараниями которого при участии Московского университета и поддержке влиятельных церковных деятелей и двора и был подготовлен этот труд. “Польза словарей всякого рода и на всяком языке понятна всем, – пишет он далее, – хотя мало в науки прикинувшим людям: тем паче она совершенно известна Вашему Величеству, яко просвещеннейшей всякого рода учением и многих языков знанием Монархине, и тем паче ласкаем мы себя не тщетною надеждою, что старание наше об издании сего церковного словаря, как в рассуждении его содержания, так и языка, до которого он касается, благочестивейшею греко-российской церкви покровительницею за благо принято будет, и сие всеподданнейшее приношение купно с приносящим оное обществом удостоится всевысочайшего благоволения и покровительства” (С. VII–VIII).

В “Предисловии” к своему труду П.А. Алексеев излагает его цели и задачи, принципы отбора слов, литературные источники и др., а также собственный взгляд на характер развития языка и его особенности. Рассуждения автора нам показались весьма интересными и заслуживающими внимания. Обратимся к ним подробнее: “Примечено учеными людьми, что как прочие европейские языки обогатились наипаче от переводу священных книг; так и российский, будучи обширен по своей природе, отмеченную получил красоту, изобилие и важность с того времени, когда церковные книги переведены с еллиногреческого языка на славенский (т.е. славянский – *О.Н.*), и неподражаемое витийство древних христианския церкви учителей пересаждено в петроград российского слова, кое восприявши на себя греческие великолепности посредством славенского выговора весьма к тому способного, возвысилось несказанным образом.

Но как в начальных Святого Писания переводах остались речения, на наш язык не переведенные, для особливого их уважения, или переведенные, но не всем вразумительные по свойству еврейскому и греческому для нас странному; переменять же часто древнего библейского слова на новой, с понятием общенародным сходной, важные причины не позволяют: то необходимость требовала сочинить особый всем

незнакомым или в незнакомой силе взятым речениям, с кратким оных изъяснением церковный Словарь, который ко удовольствию желаня охотных читателей и прямых любителей богодуховенного писания при сем представляется” (С. IX–X).

Важно отметить, что Словарь предназначался не только для толкования “неудобъразумеваемых речей” из книг Священного Писания и богословских трудов, но и имел учебное значение, служил доступным практическим пособием. Из него, между прочим, можно было вынести и отдельные географические наименования, названия утвари и т.д., помимо собственно церковных понятий. Кроме того, в ряде статей даются краткие этимологические ссылки, облегчающие понимание иноязычного калькирования. Во всех значимых случаях автор приводит цитаты из литературы, содержащие контекст с обозначенным в заголовке статьи словом. Словарь содержит также минимум грамматических помет; из них нами замечены такие, как “прил.”, “прост.” (“по просторечию, просто”), “росс.” (“российский”), “сл.” (“славенский”), собств.”, “сред. род”, “страд.”, “уменьш.”, и некоторые другие.

П.А. Алексеев так пояснил состав и назначение своего труда: “...собирал отовсюду невразумительные и из употребления разглагольственного вышедшие речения, приписывая по возможности из разных книг оным толкования, и при преподавании университетским ученикам катихисиса (так у автора. – О.Н.) об оных по надлежащему сообща (<...>” (С. X). Среди источников словаря не только богословские труды, но и сочинения античных авторов, азбукovníки, лексиконы П. Берынды, Ф. Поликарпова, грамматика М. Смотрицкого.

Ученый хорошо понимает, что для его времени такой труд во многом, если так можно выразиться современно, экспериментален. Он придерживается азбучного состава подачи слов определенной тематической группы, четко отбирает и классифицирует их, дает перечень используемых источников и т.д. “Но общественную пользу предпочитая единоличной, (<...> из несколько тысяч слов церковных под азбуку подведенных, составил сию книжку в своем роде новую” (С. X–XI). П.А. Алексеев, – и это принципиально важно для раскрытия смысла его труда и филологического вдохновения самого автора, – видит в нем не только словотолкование, но прежде всего старается показать богатство и красоту *русского* слова, через его судьбу ощутить дыхание разных эпох, каждая из которых приносила что-то новое на поле языкового образования.

Мы можем с уверенностью говорить о том, что П.А. Алексеев – большой патриот своего дела, ценящий родной язык в его естественном, не испорченном облике и иноязычного новояза виде. Он об этом красноречиво пишет: “(<...> собиратель Словаря сего не бесосновательную имеет надежду, что по нынешнему общевоспринятому от

ученых людей старанию о чистоте российского слога, и почтенной древности из-под спуда на свет произведению, не преминут с надлежащим приготовлением охотно читать священную Библию, и прямой оный разум постигать на *природном* (курсив наш. – О.Н.) языке, и те люди, кои доселе от того удалялися за встречающимися там темнопереведенными славенскими или без перевода оставленными речениями” (С. XII). “А что сказано о боговдохновенном писании, – продолжает он, – то же с некоторою отменою приличествует и другим церковным разных творец книгам, для поучения христиан и славословия Божия с греческого языка на наш предложенным. В коих прилежному читателю откроется беспримерная красота слога, а особливо, что сложным речениям не во образец другим изобилующий язык еллиногреческий придает славенскому способность по изъяснению краткими словами великих мыслей, чего на других европейских языках без пространного описания выразить не можно” (С. XIII).

Автор искренне верит, что его опыт будет полезен для развития русского слога, не воспринимает свой словарь только как “церковный” и, следовательно, имеющий ограниченное применение, а видит в нем прообраз общероссийского лексикона: “Итак, кроме собственной высшего рода пользы, какую истинный христианин получает от прилежного чтения и подражания книг церковных, в рассуждении Общества есть та, что любезное наше отечество в скором времени увидит на своем коренном языке достойных Витиев, Стихотворцев и Истории писателей, кои оставя иноязычные для нас незнакомые выговоры, собственную красоту российского слога искажающие и при частой перемене к осязательному упадку его наклоняющие, российским чистым словом прославят громкие дела нынешнего знаменитого века” (Там же).

По сравнению с первым однотомным изданием Словаря (1773 г.) последующие были значительно дополнены и исправлены, уточнены многие реалии, упорядочена подача иллюстраций и грамматических помет; четвертое “тиснение” уже вобрало в свой состав 5 частей, помещенных в пяти книгах. По подсчетам И.И. Срезневского, “он заключает в себе с лишком 20000 объясненных слов (...)” (Срезневский И.И. Церковнославянский словарь А.Х. Востокова... // Ученые записки Второго отделения Императорской Академии наук. Кн. IV. СПб., 1858. С. XIX). Приведем фрагменты словарных статей:

Абецадло, так именуется семь писмен в нотном пении одним словом, кои состоят из букв римских (...)

Абракадабра, имя идола Сирийского (...)

Абстиненты, реч. лат. Еретика (...)

Абубекир, имя Магометова тестя, который, яко ревностный последователь и поборник его учения, по смерти лжепророка получил Калифство, то есть божие наместничество (...)

Абшит, толкуется: уволительная, или отпускная грамота с засвидетельствованием о ком-либо (...) (Алексеев П.А. Церковный словарь... Ч. I. СПб., 1817. С. 1–2).

Заметим, что все указанные нами слова отсутствуют в первом издании. Вскоре после него автор выпускает “Дополнение...” (1776 г.) и “Продолжение...” (1779 г.), куда включил и другие понятия и термины.

По-видимому, уже тогда Алексеев получил известность и широкое признание как ученый-лексикограф. Так что в последующих изданиях (например, в 4-м) ему предпосылали такие посвящения:

Церковных пользу книг, в них важность слова Россов,
 Пространно доказал великий Ломоносов,
 Стихотворения российского отец,
 Оставивший на век витийства образец
 Для подражания потомкам просвещенным.
 И се речениям из книг тех извлеченным
 Со изъяснением зрим полный алфавит:
 Сим благом общество священный муж дарит.
 Ученый свет его за труд сей почитает.
 Он славную себе тем память оставляет.

Василей Рубан

Далее помещена другая надпись “от неизвестного сочинителя”:

Нетцетный вымысел, ни гнусна свойством лесь
 Здесь Алексеева дает талантом честь;
 Но все российских стран ученые светила
 Гласят, что слов его толк справедлив и сила.
 (Алексеев П.А. Церковный словарь... Ч. I. СПб.,
 1817. С. V).

В предисловии к 4-му изданию написано, что “не токмо не упустили исправить погрешности и недостатки, усмотренные (...) в прежних изданиях. Но и приумножили оное новым дополнением разных слов и речений, до шести тысяч простирающихся, собранных чрез прочтение из Библии и из многих других церковных книг и творений, котор[ые] (...) имели случай приобрести частию от самого сочинителя еще при жизни его, частию же от других любителей славенского языка (...)” (Там же. С. III).

Еще в середине 19 столетия, когда активно разрабатывались основы научной лексикографии и уже были изданы и готовились словари академического типа, к творению П.А. Алексеева по-прежнему относились с большим уважением. Его последователь, знаменитый лексикограф И.И. Срезневский, в одной из своих рецензий так определил значение этого труда: «Последний замечательный труд словарный для наречия русско-славянского был Петра Алексеева “Церковный

словарь {...}” (СПб., 1773). Тщательно, с приведением выписок из различных книг, объяснены в нем слова русско-славянского книжного языка не только переводом, но довольно многие более или менее ясным определением понятий, заключающихся под ними. Это не только словарь, по своему времени очень полный и до некоторой степени отчетливый, но и краткая энциклопедия ученых и церковных терминов, обращающая внимание на *подлинный* (курсив наш. – О.Н.) смысл всех тех слов, которые могут быть непонятны простому читателю при чтении книг церковной печати. Он мог быть увеличен во внешнем своем объеме словами, еще более выписками из книг, мог быть дополнен в определениях энциклопедических и отрешен от ошибок, в него вкравшихся; в последующих изданиях это и было постепенно сделано; но и в первоначальном виде своем представил этот словарь ответы на все вопросы, которых решения можно было от него ожидать» (Срезневский И.И. [Рец.]. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный II Отделением Императорской Академии Наук. С.-Петербург, 1847 // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 58. № 6. 1848. С. 221–222). И далее: “Исправляемый и дополняемый, он дожил до четвертого издания (СПб., 1817–1819); служил источником для самых лучших словарей последующего времени и до сих пор не потерял своего достоинства не как памятник литературно-исторический, а как пособие полезное для справок. Жаль, – резюмирует И.И. Срезневский, – если его четвертое издание будет последнее: словарь этого рода, улучшенный сообразно современным требованиям, – словарь, в котором было бы вполне объяснено содержание книжного русско-славянского языка, вместе с понятиями учеными и церковными, выраженными этим языком, есть книга необходимая теперь едва ли не более, чем прежде” (Там же. С. 222).

Обозревая ученую деятельность П.А. Алексеева, нельзя не заметить одной особенности: он был не просто талантливым богословом-лексикографом, но и стремился сделать доступным русское слово широкому кругу общества, раскрывая его *подлинный* смысл, обогащая нашу речь старинными “картинками”, а порой короткими рассказами и анекдотами и способствуя тем самым “углублению национальных основ русского научного языка” (Виноградов В.В. Указ. соч. С. 214).

“Церковный словарь...” П.А. Алексеева соединил в себе два зарождавшихся типа словаря: энциклопедический и филологический. И если последний только находился в начале своего развития, то его последующее движение, “поток” лексикографических источников в XIX веке во многом обязаны труду П.А. Алексеева, обратившего внимание общества и ученых кругов к насущной проблеме составления толкового словаря русского литературного языка.



**Яков
Карлович
Грот
(1812–1893)**

В истории русской культуры XIX века едва ли можно найти фигуру, равнозначную Я.К. Гроту не только по богатству и глубине исследовательских интересов и оригинальности находок и открытий, но и по той действительно исключительной роли, которую он сыграл в судьбах отечественной науки. Достаточно сказать, что Я.К. Грот единственный из русских филологов в конце жизни занимал ответственный пост вице-президента Императорской Академии наук и сумел осуществить на этом поприще немало полезного, что было подхвачено и развито в дальнейшем его последователями. О Гроде даже сейчас нельзя говорить однозначно, и споры особенно по поводу его некоторых идей в области правописания не утихают до сих пор. Но личность ученого, его яркая, полная исключительных событий и встреч жизнь не могут не быть предметом интереса. Изучая его биографию и труды, мы невольно проецируем сделанное им на сегодняшний день – так много актуального и современного в работах Я.К. Грота и для историков литературы, и для лингвистов, и для переводчиков, и для историографов русской и мировой науки и культуры. В этом небольшом очерке, конечно, не удастся рассказать обо всех достижениях ученого. Наша задача – освежить в памяти и проанализировать лишь некоторые его труды и ознакомить читателей с неподражаемой личностью человека, всю свою жизнь отдавшего служению одной музе – Науке.

Яков Карлович Грот родился 15(27) декабря 1812 г. в дворянской семье. Его прадед был адвокатом в резиденции герцогства Holstein-Plön, а прабабушка – дочерью придворного проповедника Иоакима Шмиттена (здесь и далее биографические данные даются по источникам: Грот К.Я. Материалы для жизнеописания академика Якова Карловича Грота (1812–1893). Вступительный очерк. Предки, семья и детство. СПб., 1912; Грот К.Я. Материалы для жизнеописания академика Якова Карловича Грота (1812–1893). Хронологический обзор его жизни и деятельности. СПб., 1912). Дед будущего академика, Ио-

аким (Яким, Ефим) Христиан Грот, родился в 1733 г. в Голштинии. В 1751 г. он поступает в Иенский университет, по окончании которого возвращается в свой город, где становится проповедником. С 1758 г. он на службе у русского губернатора в Кенигсберге барона Н.А. Корфа. Когда ему минуло 27 лет, он приехал в С.-Петербург домашним учителем в семью овдовевшей генеральши Корф. С тех пор Россия стала его вторым домом. В 1770 г. у пастора Грота родился сын Карл, отец Якова Карловича. По воле императрицы Екатерины II в 1785 г. он был приглашен “для упражнения в немецком языке” к наследнику великому князю Александру Павловичу и к его брату великому князю Константину. В 1795 г. Карл Грот, бывший студент Академии наук определен в 3-ю экспедицию для свидетельства государственных счетов и вскоре пожалован в коллежские регистраторы. Он умер в 1818 г. в должности коллежского советника, начальника отделения Государственных имуществ.

Через несколько лет после кончины мужа мать Я.К. Грота пишет на имя государя прошение о приеме ее двух сыновей в Царскосельский лицей “на казенный счет”. Просьба была удовлетворена, и в январе 1823 г. Яков Грот поступает в лицейский пансион. С этого времени он находится в центре культурных событий и незабываемых встреч, поразивших его (впоследствии он не раз будет возвращаться к этому периоду своей жизни). Так, в 1828 г. во время приезда Пушкина в лицей он находился в числе лиц, его сопровождавших, а будучи уже на старшем курсе, в 1831 г., он снова удостоился чести видеть великого поэта.

Там же, в Царском Селе, рождаются первые научно-публицистические опыты Я. Грота. В 1830 г. в “Литературной газете” Дельвига был помещен его перевод статьи профессора Тилло о “Курсе французской литературы” Ферри де Пиньи. В лицее молодой Грот пробует себя и в других родах словесности: издает журнал “Лицейский муравей”, занимается итальянским языком и пишет сочинение “Об итальянских глаголах”. В июне 1832 г. состоялся выпуск из лицея, который он окончил с первой золотой медалью, и в сентябре того же года поступил на службу в Канцелярию Комитета министров под начальство барона М.А. Корфа.

Первые литературные опыты Я.К. Грота относятся к 1835–1837 гг. Тогда он работал над переводом поэмы Байрона “Мазепа”, которая была опубликована в знаменитом “Современнике” (Т. IX, 1838 г.). В 1830–1840-е годы он не раз печатает свои стихотворения в этом журнале, а также рассказы и очерки научно-популярного характера в детском издании – “Звездочке”.

В 1838 г. Я.К. Грот впервые знакомится с Финляндией и вскоре (1840 г.) становится чиновником по особым поручениям при Статс-секретарстве великого княжества Финляндского. За время своего пре-

бывания в Гельсингфорсе он принимает деятельное участие в 200-летнем юбилее Александровского университета и избирается членом финского литературного общества. Непреодолимая тяга к литературным трудам и ученым занятиям в области филологии приводит его к мысли о необходимости сконцентрировать свою деятельность в направлении научного исследования и преподавания.

В 1841 г. Я.К. Грота определяют ординарным профессором русской словесности и истории при Императорском Александровском университете. Первая его лекция состоялась 8 сентября 1841 г. Находясь в Финляндии, он знакомится с эпосом “Калевала”. В конце 1830-х гг., когда Я.К. Грот был профессором Гельсингфорского университета, он и в печатных своих трудах, и в выступлениях, и в поездках по северным странам “был наиболее усердным и компетентным посредником между русской и скандинавской культурами” (Осват А.Л. [Грот Яков Карлович] // Русские писатели. 1800–1917. Биограф. словарь. Т. 2. М., 1992. С. 49). И действительно, не обращаясь специально к исследованию этого вопроса, можно заметить вполне четкую и выделяющуюся линию в творческой биографии Грота 1830–1850-х гг.: страноведение как культурный процесс им осваивается посредством погружения в истоки скандинавской народной культуры, которая во многом понятна и близка русскому человеку. Отсюда возникают переводы и статьи о “Калевале”, по сути, открывшие этот замечательный памятник нашему читателю, работы о фольклоре народов севера, путевые заметки и др.

Все это, словно мостиком, скрепляется в сознании Я.К. Грота как осязаемые ветви одного большого дерева – филологии, познать которое без ощущения различий и одновременно сходства языков и сюжетов разных народов, их причудливого переплетения и метафорических “иллюзий” едва ли возможно. Ведь скандинавский эпос удивительно импульсивен и сообразен нашим северным преданиям и, конечно же, был близок самому Я.К. Гроту – европейцу, тяготевшему к изучению истоков, древностей, покоящихся на столпах народных, изустных бесед, причудливого говора...

Стоит сказать, что этот период жизни был полон и других впечатлений и событий: знакомство с П.А. Плетневым и сотрудничество в “Современнике”, встреча с В.А. Жуковским и лестный отзыв последнего о рукописи перевода “Фритиофа” Я.К. Гротом, знакомство с Одоевским и Крыловым, Далем, Панаевым и Погодиным. Таким образом, еще в молодые годы Грот был вовлечен в круг самых просвещенных людей того времени.

Мы не имеем возможности здесь коснуться другой стороны его творчества, но заметим в двух словах, что Я.К. Грот проявил себя и как незаурядный исследователь истории русской литературы XVIII–XIX вв. При этом работы этого цикла отличались документальностью

тью, основанной на исследовании архивов, в сочетании с применением некоторых новаторских приемов (см., например: Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1887, 1889; Его же. Пушкинский лицей. (1811–1817). Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я.К. Гротом. СПб., 1911 и др.). Занимаясь творчеством Державина, Грот сделал подробный историко-литературный и биографический комментарий, справочный аппарат к его собранию сочинений, которое в отечественной науке справедливо называют первым академическим и наиболее полным.

Начальные опыты Грота в области языкознания относятся к середине 1840-х гг. Тогда ему было поручено наблюдение за печатанием шведско-русского лексикона, изданного в Гельсингфорсе в 1846–1847 гг. В журнале “Современник” (т. XXXVIII, 1845) появляется его первая большая статья “Об основных формах русского глагола”. Одновременно с этим он увлечен и литературными исследованиями, особенно серьезно изучает творчество Державина (впоследствии, как известно, он подготовил к изданию собрание сочинений великого поэта, написал его биографию и составил “Словарь к стихотворениям Державина”). Кроме собственно русского языкознания для *русских*, еще в период своей работы в Скандинавии, Я.К. Грот занимался печатанием шведских пособий по русскому языку.

К 1851 г. относятся первые сношения ученого с Отделением русского языка и словесности Императорской Академии наук. В эти годы начинают издаваться “Известия II Отделения”, и Я.К. Грота привлекают к академической работе. Как специалист по скандинавским языкам, он оказывается вначале полезен и с этой стороны. Так, еще в том же 1851 году ОРЯС обращается к нему с просьбой об определении русских слов, заимствованных из скандинавских языков, для готовящегося “Опыта областного словаря русского языка”. Позднее, как мы знаем, деятельность Я.К. Грота будет сконцентрирована более на сравнительном изучении русского языка, и на этом поприще он сделал немало открытий. Здесь особое значение имеют труды по истории и этнологии русского языка, грамматике и лексикографии, до сих пор считающиеся авторитетными.

В 1876 году вышло второе, “значительно пополненное издание” “Филологических разысканий” Грота в 2-х томах, в которое вошли основные работы по русскому языку. Обзор этих трудов сам по себе может занять не одну страницу, но все же и здесь можно отметить такие части, выделенные, вероятно, самим ученым. Это: 1) “Народный и литературный язык”, 2) “К соображению будущих составителей словаря” и 3) “Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне”. Последнюю (2-й том) составила обширная книга Я.К. Грота (более 400 стр.), значительно дополненная и пересмотренная, по сравнению с предыдущим изданием (СПб., 1873), имеющая своей целью,

как и прежде, “историческим путем уяснить мыслящему читателю настоящее состояние русской орфографии и способствовать к большему единообразию письма” (Грот Я.К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого донныне // Грот Я.К. Филологические разыскания. Т. 2. СПб., 1876. С. IV). В первом же абзаце книги ученый настоятельно советует: “⟨...⟩ пусть наши физиологи займутся наконец исследованием звуков родного языка: тогда лингвисты будут с благодарностью пользоваться их указаниями” (Там же. С. III). Этой же проблематике была посвящена наиболее популярная и спорная книга “Русское правописание”, выдержавшая 22 издания (последнее – СПб., 1916).

Именно настоящее руководство стало известно всем, поскольку во многом регламентировало нормы русской орфографии, существовавшие с некоторыми изменениями до реформы 1917–1918 гг. Еще в свое время оно вызывало немало нареканий и подвергалось разбору. Известна, например, брошюра А.В. Миртова с характерным названием: “Русско-немецкое правописание академика Якова Карловича Грота” (Пг., 1915), в которой автор, в то время преподаватель 1-й Петроградской гимназии и Смольного института, считал, что “правописание Грота есть узаконенное произношение петроградских немцев” (Там же. С. 4) и что, “изгоняя общепринятые выражения, Грот заменяет их своими неуклюжими нововведениями” и пренебрегает законами русского произношения (Там же). В книге дается пословный разбор неудачных, по мнению автора, примеров, вроде *безымённый* вместо *безымянный*, *Великобританния* вместо *Великобритания*, *жеребей* вместо *жеребий* и др., разбираются также некоторые грамматические и акцентологические позиции труда академика.

Не во всем, однако, был прав А.В. Миртов, если иметь в виду современные нормы. Так, он пишет: «Грот игнорирует более распространенную и вполне литературную норму *военноначальник*, заменяя ее более редкой “военачальник”» (С. 10), или о слове *компас* (А.В. Миртов настаивает на ударении *-ас*, в противоположность Я.К. Гроту. Такие примеры не единичны. Стоит сказать, что именно сейчас труд Я.К. Грота является необычайно актуальным.

Последним значительным достижением академика Я.К. Грота, о котором до сих пор с почтением говорят исследователи современного языка и лексикографы, явилась идея подготовки и издания толкового “Словаря русского языка”, вобравшего в свой состав по возможности весь лексический строй почти двухсотлетней традиции отечественной словесности в ее современных литературных формах. Этот труд явился по сути первым *академическим нормативным* изданием с довольно широким синхронным срезом языка. В нем как никогда ранее было широко использовано наследие русской классической литературы и лексикографических источников со времени Ломоносова до конца

XIX в. С 1891 г. Я.К. Грот возглавил работу над ним совместно с II Отделением Императорской Академии наук. При жизни ученого вышли три выпуска (вып. 1–3), объединенные позднее в I-й том (СПб., 1895).

Котошихин, Петр I, Ломоносов, Шувалов, Екатерина II, Державин, Жуковский, Карамзин – вот далеко не полный перечень лиц, которые были не единожды в центре внимания Я.К. Грота; о них он не раз писал, создавая колоритные портреты далеких и близких времен. И ему это удавалось, как никому другому. Наверное, здесь причина не только в живом интересе к неординарным личностям, но и в генеалогии рода Гротов, в котором косвенно или прямо пересекались судьбы этих людей.

В юбилейных торжествах 1882 г. по случаю 50-летия научной деятельности академика Я.К. Грота прозвучало немало прочувствованных речей. Один из выступавших, академик А.Ф. Бычков, так выразил свое отношение к юбиляру: “⟨...⟩ вы постоянно стоите за все прекрасное и полезное, справедливое и честное; ⟨...⟩ вы дорожите успехами отечественного просвещения, потому что любите Россию; ⟨...⟩ вы уважаете и цените отечественных ученых; ⟨...⟩ вы науку ставите выше всего и выделяете ее из обыденных отношений, весьма часто мелочных и себялюбивых; наконец, вы ни на миг не отступили от того, что сами с лишком 40 лет тому назад сказали:

Я перед ангелом благим
Добру и правде обещаю
Всегда служить пером моим!
И если я обет нарушу,
И если низости змея
Когда-нибудь вползет мне в душу
И развратится речь моя,
Пускай мой белый гость обратно
К тебе умчится, помрачась,
И стих исчезнет благодатный...

И вы не нарушили этого прекрасного обета” (Библиографический список сочинений, переводов и изданий ординарного академика Императорской Академии наук Я.К. Грота. Отд. отт. СПб., 1883. С. 39).

В заключение необходимо сказать, что фигура академика Я.К. Грота требует более пристального внимания, а его идеи и разработки во многом остаются актуальными для современной филологии. Хочется надеяться, что наш небольшой рассказ об этой самобытной личности заинтересует читателей и обратит их интересы в сторону “гротоведения”.

О.В. Никитин



Солдатский сын – Петр Иноходцев

*Е. И. ДЕРЖАВИНА,
кандидат филологических наук*

В создании словаря Российской Академии принимали участие люди, казалось бы, по роду своей деятельности невероятно далекие от филологии и лексикографии. Конечно, необходимо учитывать, что в XVIII веке не было такого, как сейчас, обособления наук, и студенты-естественники получали обширные знания и в области филологии. Одним из таких ученых был Петр Борисович Иноходцев, академик Петербургской академии наук, посвятивший свою жизнь астрономии, о которой писал: “Все почти науки произошли по необходимости и среди градского шума; но астрономия начало свое восприяла от любопытства на открытом и безмолвном поле” (Месяцеслов с наставлениями).

Родился Петр Борисович Иноходцев 21 ноября 1742 года в Москве в семье солдата Преображенского полка. Отец будущего академика сам не получил достаточного образования и мечтал видеть своего сына, в котором он заметил стремление к учению, человеком образованным. Он подал прошение о зачислении сына в Академическую гимназию. Оно было рассмотрено, Петр Иноходцев был экзаменован и от-

правлен в Петербург к инспектору Академической гимназии академику С.П. Крашенинникову (профессору естественной истории, который явился первым наставником и других наших известных ученых) на два испытательных месяца. За эти месяцы Иноходцев показал себя способным учеником и по прошествии испытательного срока был принят в гимназию.

После окончания гимназии в 1760 году он поступил в Академический университет, где слушал лекции по теоретической и практической астрономии С.Я. Румовского (имя С.Я. Румовского, поистине учебного-энциклопедиста, также стоит в числе авторов Словаря Академии российской), по экспериментальной физике и натуральной философии – Брауна; по алгебре, дифференциальным и интегральным исчислениям и высшей геометрии – С.К. Котельникова и по классической литературе – Фишера. Во время учебы П.Б. Иноходцев был отмечен как лучший в филологии, философии, математике, физике и астрономии. По всем предметам на итоговых экзаменах он получил высшую оценку, поэтому после окончания университета, как один из лучших учеников, был оставлен для преподавания математики в Академической гимназии.

Через некоторое время П.Б. Иноходцев вместе с тремя другими молодыми учеными был отправлен Академией на два года в Геттингенский университет для усовершенствования в физике и математике во всем их объеме. Отвез в Германию русских студентов замечательный ученый, филолог и историк, академик Шлецер, который некоторое время за ними и надзирал, а немецкие профессора обязаны были посылать сообщения в Академию со своими отзывами обо всех присланных из России учащихся. Об Иноходцеве они писали как о слушателе, отличавшемся усердием и любознательностью, стремлением расширить кругозор, рассмотреть все стороны научного предмета.

По возвращении из Германии в 1769 году П.Б. Иноходцев был принят в Академию наук адъютантом и в том же году вместе с академиком Г.М. Ловицем направлен в крепость Гурьев для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца. Это редкое, важное по своей сути, космическое явление позволяет судить о диаметре Земли. На ученых также было возложено проведение геодезических изысканий для возможного строительства канала между Волгой и Доном, задуманного еще Петром Великим для соединения Черного и Каспийского морей.

Работы велись в малонаселенных южных степных районах России, в достаточно суровых условиях: жили в палатках, часто испытывали под палящим солнцем нехватку воды. Но самоотверженный труд пришлось спешно прервать в связи с приближением к этим местам пугачевского восстания. П.Б. Иноходцеву пришлось отправиться в Дмитриевскую крепость. Однако и там положение оказалось очень тревожным, это заставило его принять решение зарыть в крепости

инструменты, бумаги и свои вещи (после того, как крепость была захвачена, пугачевцы раскопали их, частично разграбили, частично переломали) и вместе с беженцами продвигаться к Царицыну. Г.М. Ловиц же долго колебался и в конце концов решил пойти к немецкому поселению, которое было неподалеку, но дойти он не успел, попал к пугачевцам и был ими казнен: “Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам. Адъютнт Иноходцев, бывший тут же, успел убежать” (Пушкин А.С. История Пугачева). П.Б. Иноходцев и спасшийся сын Г.М. Ловица продолжили свое путешествие, также делая астрономические наблюдения и ведя путевые заметки. Вернувшись в Петербург, П.Б. Иноходцев представил в Академию наук записки Г.М. Ловица и свои, которые были ею напечатаны.

Во время следующего своего путешествия, которое пролегло через многие области России, П.Б. Иноходцев определил географическое положение некоторых российских городов: Орла, Нежина, Ярославля, Вологды, Херсона, Тамбова и др. В 1785 году он описал города Вологодчины и Великоустюжской области. Во время своих экспедиций Иноходцев аккуратно вел записки, как бы следуя указаниям, данным еще Петром I, который, рассылая по всей России геодезистов, называл “журналы вести, и из них прилагать к ландкартам экстракты, где какие народы, каких вер и чем питаются, и какой где хлеб родится или не родится, и о прочем, что прилично географическому описанию” (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1963. Т. X). Материалы этнографического и исторического характера, написанные живым и красочным языком, вошли в его статьи о Вологде, Тамбове, Каргополе. П.Б. Иноходцев писал в них и об истории городов, опираясь на рукописные источники, летописи и многие другие материалы. В статье о Каргополе им описаны наряды местных щеголей с использованием диалектных названий деталей костюма: на голове у них – *канура*, на шее – *наборшник*, на плечах – *грибатка*.

Долгое время П.Б. Иноходцев был профессором астрономии и инспектором Академической гимназии, в 1779 году он избирается академиком Санкт-Петербургской Академии наук по астрономии. После смерти Альберта Эйлера (секретаря академии наук, астронома и сына выдающегося математика, механика, физика Леонарда Эйлера) П.Б. Иноходцев много лет занимался изданием метеорологических наблюдений.

Труды П.Б. Иноходцева в основном посвящены астрономическим проблемам и описанию мест его путешествий. Его перу принадлежат работы как на русском языке – “О древности, изобретателях и первых началах астрономии”, “О неравном количестве дождевой и снеговой воды на разных местах”, так и на латинском – “Описание орудия для измерения покатоности мест”, “Описание нового рода гидрометра”.

В 1785 году по представлению Е.Р. Дашковой, которая признала за П.Б. Иноходцевым неоценимые заслуги перед русским языком, он был избран членом Российской Академии. Еще до своего официального избрания в Академию П.Б. Иноходцев готов был трудиться над словарем русского языка и предоставил составителям свое собрание областных слов и речений. Ему не досталось расписывание слов на какую-либо букву, так как к моменту его избрания все подобные работы были уже распределены. Его избрали членом словопроизводного и издательского отделов. В первом из них велась важная работа по определению корней слов и их происхождения, во втором необходимо было “прилагать старание об издании словаря набело”. Иноходцева, вместе с коллегами по отделу – С.Я. Румовским и И.И. Лепехиным – называли иногда издателем Академического словаря. При составлении словаря он трудился от первой и до последней его части: рассматривал предварительные материалы, определял во всех шести частях словаря математические термины, такие, как *алгебра*, *аксиома*, *аэрометр*. Он также дополнил словарь словами, собранными им во время путешествий, например: *вотола*, *ерик*, *ватага*, *бабашка*, *бердо* и др. В начавшихся после издания словопроизводного словаря работах по словарю азбучному П.Б. Иноходцев также принял самое деятельное участие. Вместе с физиком С.Я. Румовским, И.И. Лепехиным, естествоиспытателем И.Я. Озерецковским и медиком А.П. Протасовым они наметили общий план словаря. Кроме того П.Б. Иноходцев взял на себя внесение дополнений и поправок в слова на букву *T*, а также определял математические термины.

Российская Академия, ценя труды П.Б. Иноходцева как одного из просвещеннейших и деятельных своих тружеников, наградила его за заслуги в создании обоих академических словарей золотыми медалями в 1794 и в 1802 годах.

Скончался Петр Борисович Иноходцев 27 октября 1806 года от чашотки и был похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге. На памятнике из серого мрамора над его могилой написано:

“Под камнем сим лежит великий человек.
В нем сердца доброта сияла с просвещеньем;
Он был отечеству полезен весь свой век:
Прохожий, преклонись пред ним с благоговеньем”.



Простые, составные названия и ключевые слова в документах

А. Н. КАЧАЛКИН,
доктор филологических наук

В XV–XVII веках в заголовках документов можно было встретить простые названия – *Грамота, Запись, Память*. Но чаще встречались сложные, т.е. с определением (прилагательным): *Благословенная Грамота, Верчай Запись, Вестовая Память, Заемная Кабала, Именная Роспись* и др. Бывает, что название как бы “разбросано” по всем частям документа, но эти части целесообразнее свести в единое, целое наименование. Так, в одном месте встречается слово *Покрутная*, а в другом – *Запись* (1703). В одной части документа видим сочетание *Полюбовная межевая*, а в другой – *Память* (1482 г.). Один и тот же автор называл документ сначала *Отпись*, а потом – *Очистная* (1686 г.), или, например, в текстовой части документ назван *Расписка*, а в оформляющей части этот же документ называют то *Распиской*, то *Порядной*. Таких случаев немало. Для исследовательских целей считаем полезным сводить эти разбросанные по документу названия в единое целое и предлагаем именовать составными терминами: *Покрутная запись, Полюбовная межевая память, Очистная отпись, Порядная расписка*.

Понятия простого, сложного и составного названий документа нужны и для того, чтобы не смешивать отдельный документ и сочетание документов по одному делу. Полагаем, что эти понятия могут быть полезны при составлении описей документов архивистам.

Разные названия одного документа – довольно распространенное явление, и лингвисты не могли не обратить на него внимание. Суждения по этому поводу единодушны: причину разных названий одного документа надо видеть в синонимии, вызванной тем, что язык допетровской эпохи недостаточно устоялся и в разных случаях, в том числе и в названиях документов, использует разные лексические средства.

Рассмотренный нами материал разных сфер документооборота позволяет значительно увеличить число примеров, которые целесообразно рассмотреть внутри определенных групп. Разные названия документа могут быть связаны с разными ключевыми словами текста (обычно глаголами), с различным объемом содержания названий, с разным значением документа для субъекта и объекта и другими причинами.

Разные названия одного и того же типа документа объясняются различными целями, обстоятельствами, которые должен отразить документ – отсюда столь широкое разнообразие документов по темам.

С развитием деятельности канцелярии дьяки, подьячие и другие стремились совершенствовать документы, закреплять названием главную тему и вместе с тем передавать отношение документа к действительности.

Канцеляристы усматривали в содержательной части делового текста разные с точки зрения основного, ключевого смысла слова. Однако каждое название вида или разновидности документа обязательно соотносится со словом текста, принятым канцеляристом за основное, ведущее по смыслу. Чаще всего это глагол в его свободном или фразеологическом употреблении.

Обратимся к тексту, где равноправно употребляются в качестве названия слова *Выбор* и *Излюб*: "...и все прихожане выбрали есмь и излюбили к церкви Рожества Христова в попы Семена Иванова на празное место отца его Семенова священника Ивана... в том мы прихожане, дворяне и дети боярские ему Семену Иванову сыну попову сей по выбору нашему и излюб дали. А излюб писал... Николаевского Озерскаго монастыря дьячек Федка Харюковской... К сему выбору Афонасей Брянчанинов руку приложил. К сему выбору Степан Брянчанинов руку приложил" (1683 г.). Здесь эти два равноправных ключевых глагола и от них два отглагольных существительных – названия документа. Отсюда и вариативность в названии данного сравнительно стандартного текста.

Аналогично употребление двух разных наименований документа *Челобитье* и *Явка*, возникших из двух равноправных ключевых глаголов *бьет челом* и *являет*: "Ц(а)рю г(осу)д(а)рю и великому князю Федору Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя России самодержцу бьет челом и являет сирота твои борисоглебец Мишка Павлов с(ын) Горбунов Ярославского уезду на Ивана Борисова сына Жахова... тот Иван Борисов против записи мне сироте твоему своего не от-

дает насилством своим и завладел напрасно м(и)л(осс)рд(н)ый г(осу)д(а)рь ц(а)рь и великий князь Федор Алексеевич всеа великия и малыя и белыя Росии самодержець пожалуй меня сироту своего вели г(осу)д(а)рь мое челобитье и явку записат...” (1679 г.).

Разные или сложные названия документа возникают за счет обозначения его разновидностей, выраженных прилагательными. Такие прилагательные также соотнесены по смыслу, а, точнее говоря, порождены ключевыми глаголами – основой содержательной части делового документа: “Се аз Михайла Дмитриев, Комарицкой волости, Радогожского стану деревни Козминки, салдатской сын, с женою своею Анисьею Абрамовой дочерью, да с детми своими Иваном, да Дементеем, да Кондратом, заняли есми в Севску у Стародубца у Трофима Прокофьева сына Гломаздина тридцать рублей денег ... жить мне Михайле с женою своею и с детми у него Трофима во дворе с сего числа впредь восемь лет; а живучи у него Трофима, его жены и детей его во всем слушать и почитать... А порука по нас заимщиках в житье Севской полковой козак Аким Васильев, Севские стрелцы... А будет он Михайла с женою своею и с детми у него у Трофима во дворе с сего числа впредь осми лет, за нашу порукою, не выживет, и живучи у него Трофима, жены и детей его во всем слушать и почитать не учнет, и дворовой всякой работы не станет... и на нас на поручниках взять ему Трофиму, по сей заимной и жилой кабале, те свои заимные денги и сносные животы все сполна...” (1693 г.). Ключевое слово *занять* употреблено в тексте первым глаголом; другое ключевое слово – *жить* несколько раз встречается в различных словоформах и в других производных словах: *выживет, житье*. Оправданным является сложное название документа – *Заимная и Жилая кабала*.

Также два ключевых глагола *занять* и *заложить* объясняют сложное название *Заемной и закладной расписки*: “...занел я Григорей у колуженина посадского человека у Семена Тимофеева сына Дехтерева дватцат рублей денег, и в тех денгах заложил я Григорей ему Семену свое моление – две иконы... В том я Григорей заемною и закладную расписку дал, расписку писал своею рукою” (Калужские купцы Дехтеревы. Документ без даты).

Приведем еще несколько сюжетов, когда в названии документа разными прилагательными отражены разные действия. Некие Ортюшка и Сенька Михеевы захотели “жити за государем своим” Иваном Григорьевичем Чиркиным “во крестьянех”, “и, живучи, хоромы поставить и пашня пахати, поля огородити, пожни и луги росчищати, как у прочих жилецких крестьян”, в общем, стать полноправными жителями крестьянами. Поэтому их Запись о поряжении к хозяину названа не просто *Порядной*, но и *Жилецкой* (1627 г.).

В одном из судебных дел – деле о краже быка – есть документ допроса найденных воров. Название этого документа – *Распросные и*

пыточные речи – обусловлено употреблением глаголов и отглагольных существительных с такими же корнями: “...приводная черемиса деревни Кобеньяковы Умербахтка Метяков роспрашиван, и в роспросе сказал: в прошлом де во 182 году, осенним временем, Умербахтка с торговища быка белова... пристав Умербахтка пытан, а с пытки сказал те же речи, что и в роспросе, а в иных воровствах не повинился... Федор Алексеевич Зеленой, слушав сих розпросных и пыточных речей, велел выписать из Уложения и учинить по Уложению...” (1675 г.).

Если ключевое слово (глагол) в тексте пропущено, это может породить расхождение в наименовании документа, в названии жанра. Пример таков: “...по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Руси указу и по памяти, за приписью государева дьяка Второго Поздиева, городской прикащик Иван Неелов да подьячей Яков Раков [полагаем, здесь должен быть ключевой глагол] в Лукине улицы попов, диаконов по священству, старосте и уличян по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Руси крестному целованью, что их слух и ведом про охотников Олексеевские слободы, отчего оне в нынешнем во 110 году послы Велица Дни из ямской слободы бигали... И Лукине улицы священник сказал [глагол появился, но это не ключевой глагол] Степан Федоров по священству, староста Ларя Петров, десяцкий Ортюшка Иванов и уличане ... слух и ведом есть, что бегали охотники хлебной дороговли, што ямской хлеб позяб и от хлебного недороду обнищали, а жены их и дети сами по миру хлеба прошают... А опросные речи писал церковный дьячек Мосийко Семенов ... К сему обыску Лукинской поп Степан и в детей своих духовных место руку приложил” (1602 г.). *Обыском* поп назвал этот документ по аналогии с ему известными.

Не каждый глагол, в том числе и соседствующий с ключевым словом, получает отражение в названии документа. В *Займной закладной кабале* 1664 года читаем: “Се аз Устюжескаго уезда, Ягрышской волости, крестьяне Дорофей да Иван Степановы дети Стуковых, родом Пенезана, заняли есми Черевковской волости, у Домны Денисовы дочери Быковых ... А в тех денгах мы займщики Дорофей да Иван заложили и подписали свою пожню в Сосновце острову, в Ягрышском лугу, осоку своей деревни Селивановской... А в отвод и в очищенье той пожне осоке, санным покосам, мы займщики своими деньгами. А понадобятся ей Домне деньги, и нам займщикам тою пожнею не заменятся, по сей закладной деньги отдать сполна, безубыточно...”. Больше глагол *подписать* или производные от него в тексте Кабалы не употребляются, но есть слова *займщик*, *закладная*. Глагол *подписать* не породил определения *подписной* в сложном названии документа: “...Заемную кабалу писал, по займщиков веленью, Ягрышской волости церковной дьячек Федко Савин Брагиных... К сей займной закладной кабале Ягрышской волости Никольской поп Максим, вме-

сто займщиков Дорофея да Ивана Стефановых детей Стуковых, по их велению, руку приложил” (1664 г.).

Таким образом, говоря о глаголах как о ключевых словах, порождающих названия документов, надо учитывать и их “силу”, проявляющуюся, в частности, в образовании иных производных слов в составе текста. Подтвердим это суждение фрагментом текста еще одной *Кабалы – Заемной служилой*: “Се аз Левка Федоров сын занел есми аз Левка у г(о)с(у)д(а)ря своего у Абрама Ивановича Борышникова три рубли денег московского серебра... А за рост мне займщику Левке Федорову у г(о)с(у)д(а)ря своего у Абрама Ивановича Борышникова служить и работат во дворе по вся дни а полягут те заемныя денги по срок и мне займщику Левки Федорову потому ж у него г(о)с(у)д(а)ря, своего у Абрама Ивановича Борышникова служить и работат во дворе по вся дни... а заемною служилою кобалу писал Козелской губная избы подячей Трофимка Трофимов...” (1672 г.).

Разные названия одного документа могут возникать за счет соотношения с каждым из элементов фразеологизирующегося сочетания (или устойчивого сочетания терминологического характера): *дать льготу, отдать на оброк*. Соответственно появляются названия: *Данная и Льготная*: “...воевода Петр Максимович Лукомской дал лготы москвитину, гостинной сотни торговому человеку, Парфенью Веневитину..., а лготы ему дано на те варницы на четыре годы с тех мест, как он в тех варницах соль заварит; а в те лготные годы поставити ему четыре варницы и промысл соляной завести..., и подли озера до той же протоки до угла дана ему Парфенью Веневитину то пустое место вдоль на двесте сажен, а поперег на сто сажен, для варничного заводу и промыслу... К сей лготной воевода Петр Максимович Лукомской печать свою приложил; а назад подлинной даной справа подячево Гаврила Семенова” (1636 г.); *Данная и Оброчная данная*: “...Устюжской городской приказчик Никифор Дмитриев сын Колашников, Усольскаго уезда Пятницкаго сельца крестьянин Григорей Абросьев сын Мелчаков, отдали есмя на оброк Устюжскому Архангельского монастыря архимандриту Корнилюю... новую присадку песок, а круг того песку идет по обе стороны вода. А положили мы... на Государя Царя оброку в казну, смотря по угодьям и примеря к иным посадам, б денег ... А не вступатися в то угодье, в новую присадку в песок, иному никому и дела нет впредь по сяков день, как ся данная писана, опричь архимандрита Корнилья с братьею... А даную оброчную писал Волокитка Федоров сын Пестов, Устюжской площадной дьячек...” (1592 г.).

Из истории политического лексикона XX века



СОКОЛЫ, ВИТЯЗИ И МУШКЕТЕРЫ

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Оказавшись на чужбине после революции 1917 года и Гражданской войны, русские эмигранты пытались наладить старую систему обучения и воспитания или создать новую. Изменившиеся социальные условия – изгнанничество – потребовали поисков новых форм работы с детьми и молодежью. Несмотря на многие трудности, эмигранты создали разветвленную и достаточно стройную преемственную систему образовательно-воспитательных заведений.

Нацеленность эмигрантов на скорейшее возвращение на Родину определяла характер и тип образования в зарубежных школах – преимущественно гуманитарный: древние языки, русская литература, история, русский язык, география. “Основная цель системы образования в эмиграции состояла в сохранении русского самосознания, поэтому естественные науки и математика, интернациональные по содержанию, преподавались в соответствии с учебными программами, принятыми в стране проживания” (Марк Раев. Россия за рубежом. История культуры и русской эмиграции 1919–1939: Пер. с англ. М., 1994).

Эмигранты придавали большое значение как организации обучения детей, так и просветительской работе с ними, поскольку считали, что не только полученными знаниями формируется личность молодого человека, которому предстоит вернуться в родную страну в ближайшие годы. Для этих целей существовали разные просветительские союзы и объединения. Одни из них были восстановлены из доре-

волюционного прошлого, например: *скауты*, *соколы*, другие появились уже в эмигрантском “круге жизни” – *витязи*, *разведчики*, *мушкетёры*.

В 1909 году в России по инициативе О.И. Пантюхова появились первые организации скаутов – сразу вслед за созданием их в Англии. Основателем выступил полковник Р. Баден-Поулл в 1908 году. Цель скаутских организаций (англ. *scout* – разведчик) – воспитание молодых людей в возрасте 7–21 года игровым путем при познании и изучении ремесел, природы. В этих организациях принимали участие как мальчики (бойскауты), так и девочки (герлскауты). В 1914 году в России было основано общество “Русский скаут”. После 1917 года все скаутские группы были запрещены.

Понятно, что после запрещения данной организации в Советской России из русского языка обозначения *скаут*, *скаутизм* были исключены или стали ассоциироваться только с зарубежным (капиталистическим) миром. Интересно, что в “Толковом словаре русского языка” Д.Н. Ушакова в толковании термина *бой-скаут* полностью устранены какие-либо упоминания о существовании данной организации в дореволюционной России, приводится только такое определение: “член особой детской буржуазной организации военно-политического характера в капиталистических странах”. Не упоминаются эти термины и в известной книге Л.П. Крысина “Иноязычные слова в современном русском языке” (М., 1968). Возможно, это связано не только с идеологическими причинами, но и собственно-языковыми – периферийностью данных обозначений для русского языка в дореволюционный период: “Это движение не пользовалось заметной популярностью в дореволюционной России, однако получило распространение в эмиграции. Движение бойскаутов, как полагали, развивало в детях именно те качества, которых так не хватало России в годы великих испытаний войной и революцией” (Марк Раев. Указ. соч.).

В отличие от советского языка использование слов скаутского лексикона (*скаут*, *скаутизм*, *скаутский*) в эмигрантской прессе весьма активно: “30-летие Русского Скаутизма” (название заметки. Возрождение. 1939. 7 июля); “...борьба, определившаяся в русском скаутизме с самого его зарождения как борьба за национализацию, таковы, в сущности, первые общественные усилия, из которых основатели младоросского движения вынесли свой первоначальный политический опыт” (Младоросская искра. 1933. 15 авг.) и др.

Пуристические тенденции, свойственные ряду эмигрантских изданий, коснулись и наименования *скаут*: оно было переведено (попытка этого была еще до революции 1917 г.) и звучало вполне по-русски *разведчик*: “Союз дворян устроил в воскресенье в зале Иена собрание, посвященное Императорской России (...) Почетную службу несли юные разведчики, юные добровольцы и витязи” (Возрождение. 1937. 20 нояб.). Воспитание скаутов и разведчиков (не только) физическое,

но и идеологическое, и военное) следовало идеям, разрабатываемым РОВС (Русским Общевоинским Союзом), каковыми являлись пробуждение национального русского самосознания у высшего военного состава Красной Армии и тактика “среднего террора” (взрывы помещений партийных организаций в СССР). Военизированный характер скаутского движения потребовал сокращения наименования на военный манер – так появилось *НОРР* (Национальная Организация Русских Разведчиков).

Однако более популярным объединением молодежи были *соколы*. Эта система телесного и духовно-нравственного воспитания была разработана еще в 1862 году чешским педагогом и врачом М. Тыршем в общем смысле подъема национального чешского самосознания – так называемая *сокольская гимнастика*. В начале XX века она была заимствована в Россию, а вместе с ней пришло и большое количество спортивной терминологии: *перешмыг, меты, отбочка, уножка, перескок, надхват* и др. В 1917 году Н.В. Манохиным с чешского языка была переведена книга “Курс сокольской гимнастики”. Пополнение русского лексикона спортивными терминами, заимствованными из чешского языка, объясняют “полным отсутствием гимнастической терминологии в русском языке” в конце XIX – начале XX веков (Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века. М., 1981). Восстановление сокольского движения за рубежом произошло быстро: уже 16 января 1921 года в Праге было основано общество “Русский сокол”, а в течение нескольких лет возникают аналогичные общества в Югославии, Франции, Болгарии, Латвии, Польше, Китае, США.

В эмигрантском русском языке сокольская лексика использовалась часто – *сокол* (во множеств. числе вариативные окончания – *соколы* и *сокола*), *соколка, сокольский, сокольство*: «13-го февраля – в зале “Звезда” состоялся ежегодный традиционный бал русских соколов» (Меч. 1937. 21 марта); «Вечер [сокольства] открыло Общество “Русский Сокол” в Новом Саду боярским танцем» (Русский голос. 1934. 29 июля); “По случаю праздника св[ятого] великомуч[еника] Георгия – покровителя русского сокольства общество устраивает бал...” (Возрождение. 1937. 20 нояб.); “Краевой Союз Русского Сокольства в Югославии, живя вот уже 12 лет в тесном братском содружестве с Соколом Югославии, всегда принимает то или иное участие в сокольских торжествах и выступлениях югославского сокольства” (Русский голос. 1934. 29 июля).

Причины популярности и необходимости сокольского движения в системе всего воспитания у эмигрантов – «сохранить “русскость” детей, воспитывая в них самостоятельность, отвагу и энергию, необходимые для того, чтобы справиться с трудностями жизни в эмиграции» (Марк Раев. Указ. соч.). Для эмигрантов были сплетены воедино

спорт и национально-духовное воспитание: “Несколько особо стоящее от всех русских и иностранных спортивных организаций Русское Сокольство отличается от них тем, что для него спорт и гимнастика, составляющие часть строго разработанной системы, не являются самоцелью, а служат высокому идеалу культуры духа” (Возрождение. 1939. 7 июля).

Обозначение *витязь* возникло уже в годы эмиграции. Его появление связано с именем Н.Ф. Федорова, основавшего в 1934 году в Париже независимую организацию, девизом которой были “За Русь, за веру”. Поэтому выбор наименования – *витязь* – для членов этого отряда молодежи, очевидно, не являлся случайным, а призван был отразить опорные точки этого движения: православие и военно-историческая слава русских воинов. Хотя отделения этой организации НОВ (Национальной Организации Витязей) существовали во многих странах Европы, основной костяк витязей располагался в Париже и французской провинции. С этим связано то, что данное обозначение встречается, в основном, в парижских эмигрантских газетах: «Национальная организация “витязей”. Очередной сбор в воскресенье 17 марта, в соборе. После литургии витязи и дозорные останутся на торжественном освящении стяга» (Возрождение. 1935. 14 марта). Характер этой организации, как и скаутов, также был преимущественно военным, чем и объяснялось обилие военных тренировок (летние военные лагеря, походы, стрельбы); кроме того, в программу входили специальные секретные задания с целью подготовки будущих боевиков-террористов.

Разновидностью скаутов и витязей были *добровольцы*, решившие посвятить свою жизнь освобождению России от коммунистов и готовившиеся сделать это военно-террористическим путем. Например, в Болгарии из разведчиков НОРР и витязей НОВ в 1937 году была сформирована “Рота молодой смены им. генерала Кутепова” – ее членов часто именовали *добровольцами-кутеповцами*. «Добровольцы-кутеповцы должны были пересекать “минные поля” и преодолевать проволочные заграждения: делать и метать гранаты, взрывать мосты и ж.д. пути; переплывать бешеные горные ручьи; без дорог проходить по азимуту днем и ночью балканскую чащу» (Бутков В. Русская национальная молодежь в Болгарии // Наши Вести. Санта Роза (США), 1990).

Региональными, немногочисленными группами молодежи были *гайды* и *мушкетеры*. Первые были распространены, главным образом, среди эмигрантской молодежи в прибалтийских республиках и Польше, их название восходит к *гайдамакам* (турецк. *haydamak* – нападать) – первоначально в XVIII веке так называли восставших крестьян Правобережной Украины против польских панов. В годы Гражданской войны это название всплыло в переосмысленном значении

“участник вооруженного формирования, противоборствующего установлению новых порядков”. В Зарубежье *гайдамаками* обозначали организованные по военному образцу группы эмигрантов, преимущественно выходцев с Украины, поставивших своей целью освобождение страны от советской власти; *гайдами* называли членов детско-юношеской организации при этих объединениях: “Завтра, 2-го января (...) состоится елка, устраиваемая русскими скаутами и гайдами” (Сегодня. 1930. 1 янв.).

Название *мушкетер* (франц. *mousquetaire* < *mousquet* “мушкет”) в переносном значении “член организации детей русских эмигрантов” было распространено в Париже и некоторых французских городах; его использование русскими эмигрантами, проживавшими во Франции, обуславливалось фоновой отсылкой к популярным благородным, честным и бескорыстным героям романов А. Дюма. Однако в других странах обозначение если и было известно, то одноименных молодежных союзов *мушкетеров* практически не возникало.

В эмиграции сохранились подразделения бывших военных по полковому или дивизионному принципу (обычно по именам командиров): Корниловский полк, Алексеевский, Марковский, Дроздовский, Туркуловский и др. Очень часто при них организовывали молодежные отделы, занимавшиеся военно-патриотической работой. Так появились обозначения *юный алексеевец*, *юный туркуловец*, *юный марковец*, *юный корниловец*, *юный дроздовец* (или разговорная форма – *юный дрозд*).

Военно-патриотическая и религиозная просветительская деятельность была обязательной частью практически всех эмигрантских молодежных объединений. Даже малейшее ослабление такой деятельности эмигранты воспринимали очень болезненно. Однако процесс отхода молодежи от идей и идеалов отцов остановить было трудно: молодые люди активно включались в жизнь страны, у них появлялись иные жизненные ценности и ориентиры. Поэтому неслучайно в эмигрантском обиходе родилось понятие *денационализация* – утрата человеком национально-патриотического чувства, желания возвращения на Родину. Эмигранты использовали целый ряд слов данного словообразовательного ряда; примечательно, что практически все они с семантической точки зрения показывают динамику (процессуальность) развития глагольного признака: «Ведь если не будет готова наша “смена”, если наша молодежь распылится, “денационализируется”, окончательно уйдя от России в свою личную заграничную жизнь, то эмиграция как политическая сила через некоторое время перестанет существовать» (Возрождение. 1939. 14 июля); «Непрерывная вражда и бесконечные споры из-за исканий причин и виновников происшедшей катастрофы. “Аввакумовские” политические споры... Результат ясен – или дальнейшее дробление грядущих молодых сил, или же уход

от интересов русской жизни, т.е. денационализация...» (Русский голос. 1934. 29 июля).

Эмигрантская молодежь противопоставлялась советской молодежи – для обозначения последней в публицистике чаще всего использовалось слово *молодняк*. Любопытно, что Словарь Даля не регистрирует у данного слова значения “молодые люди”; это значение появилось, очевидно, на рубеже веков в городском просторечии и пришло из областной речи в дополнение к литературному значению “молодые животные, приплод”. Это значение было активным в 20–30-е годы; оно включено в Словарь Ушакова только с одной, грамматической, пометой *собр(ательное)*: “молодежь, молодые кадры”; очевидно, в нем не было в то время резко негативных ассоциаций, скорее всего – только шутливо-фамильярные.

В эмигрантской публицистике негативная коннотация оказывается доминирующей, так что она влияет даже на семантику данного обозначения *молодняк* “бездумно, слепо воспринимающая какие-либо идеи молодежь; обманутые или одураченные молодые люди”: «15 лет коммунистического строя <...> почти полностью уничтожили старое поколение, выросшее в дореволюционные годы. <...> В 1930–31 гг. <...> “молодняк” был внезапно признан самым передовым отрядом строительства социализма, застрельщиком энтузиастов пятилетки, ударным отрядом мировой революции, передовой когортой воинствующего безбожия, проводником сплошной коллективизации и т.д.» (Голос России. 1932. июль); “[Младороссы] обещают бороться за союзную империю <...> они протягивают руку советскому молодняку, они стоят за планированное хозяйство, они славят достижения пятилетки <...> для эмигрантской молодежи – это все новые слова и вообще не только для молодежи, – это новые пути. Слова, которые в эмигрантских семьях были “табу”: советы, планирование, коллективизация» (Малоросская искра. 1932. 20 авг.).

Таким образом, мировоззрение эмигрантской молодежи формировалось в разветвленной системе разнообразных воспитательных объединений – как реставрированных (из дореволюционной России), так и созданных вновь. В подавляющем большинстве случаев все они преследовали следующие коренные цели: привитие религии, любви к Родине (России), уважения к прошлому страны, овладение практическим военным искусством и готовность с оружием в руках вернуть потерянное в революции и Гражданской войне.

Санкт-Петербург



Битца и Гвоздянка

А. Л. ШИЛОВ

Многим москвичам известна станция “Битца” по Курской железной дороге, станция метро “Битцевский парк”, конно-спортивный комплекс “Битца” и “Битцевский лесопарк”. Жители Южного Бутова знают еще Старобитцевскую улицу, названную по бывшей деревне Старая Битца. Но, думается, мало кто знает, что все эти названия обязаны своему возникновению имени небольшой реки Битца (левый приток Пахры), протекающей к югу от МКАД.

На первый взгляд, название это – не русское, ибо никак не может быть истолковано на современном русском языке. Поэтому его сравнивали с гидронимами балтийского происхождения (*Абеста-Обиста* в Поднепровье, *Abista* в Литве). Но обратим внимание на то, что в старых источниках начиная с 1480 года река называлась иначе – *Обитца*. Это дает основание предполагать, что название реки – все-таки славянское, содержащее приставку *о-* или *об-*. Вспомним слова проницательного исследователя: «Топонимия доносит до нас древнерусские префиксальные формы, давно утерявшие продуктивность и теперь не всегда ясные. Для *о, об* наиболее вероятны восстанавливаемые значения “вокруг, по обе стороны» (Никонов В.А. Введение в топонимику. М., 1965). Действительно, мы видим в старых документах, да и в живой речи *ослудица* (ср. *слуда* “крутой берег реки”), *орёлка* (ср. *рель* “отмель; возвышенное место”). Между прочим, по этой модели (что сейчас уже не ощущается) построено и общеславянское слово *остров*, праславянское **о-стровъ*, “то, что обтекается, обходится с двух сторон течением, струей”.

Так и к нашему названию (в его древней форме *Обитца*) приводили древнерусское *обисести* “окружить, обойти” (Горбаневский М.В. Опыт составления топонимического словаря Московской области //

Проблемы восточно-славянской топонимии. М., 1979), *оток* “обтекаание, обход чего-либо”, откуда название староречий, рукавов реки (обходящих остров) – *Оток*, *Оточка* (Смолицкая Г.П. Названия московских улиц. М., 1996). Да, термин с таким значением вполне мог лечь в основу названия водного объекта. Но *оток*, *оточка* никак не могли дать *Обитца*!

А что, если не *о-токъ, а *объ-токъ, откуда уже реально позднейшее *обыток* > *обиток* (ср. украинское диалектное *обтік* “маленький остров”?). Вот мы видим названия реки *Обиточная* (*Обыточная*) и *Обиточная коса* близ впадения этой реки в Азовское море; реки *Обыточка* – правый приток Псла, *Обиток* в бассейне Северского Донца, деревня *Обице* на реке Житава (левый приток Дуная). На основании наличия некоторых из приведенных нами гидронимов О.Н. Трубачев настолько уверился в былом существовании восточно-славянского *обиток (от *течь*, *теку*), что ввел это слово в качестве статьи-дополнения в переводимый (и рецензируемый) им “Этимологический словарь русского языка” М. Фасмера (см. Трубачев О.Н. В поисках единства. М., 1997). И был прав! В “Рыльской отказной книге” XVII века читаем: “... половина озера Обыточка...”. Комментарий документа указывает, что в говорах Сумско-Черниговского Полесья и доньне *обыток* означает “остров на реке”.

Итак, мы имеем реальное (пусть и устаревшее, существовавшее лишь в части древнерусских говоров) *обыток*. Слову мужского рода *обиток* “остров” закономерно отвечает слово женского рода *обитка*, *обитица*, *обитца* “река с островами”. И такую *Обитцу-Битцу* мы и видим на юге Москвы. Судя по приведенным данным, название было дано реке летописными вятичами, соседствовавшими с летописными же северянами. Ушло из языка слово *обиток*, стало непонятным и соответствующее название реки *Обитца* и вот превратилась она в совсем уж загадочную *Битцу*.

А вот и другое название с древней карты – *Гвоздня*. Сейчас эта река (левый приток Пахры) называется *Гвоздянка*. “Слышится” в этом названии слово *гвоздь* (жил, скажем, у этой реки некто по прозвищу *Гвоздь*, вот и стала она так называться). Еще предполагали, что это название восходит к русскому диалектному *гвазда* “грязь, топь” (ср. *изгваздаться* “запачкаться”). Но в условиях московского аканья появление названия *Гвоздня* (*Гвоздянка*) из *гвазда* маловероятно. Также маловероятно и происхождение его из *гвоздь*. И вот почему.

Гораздо более известной, нежели малая речка, была в древности волость *Гвоздня* (тоже к югу от Москвы; Е.М. Поспелов полагает, что она располагалась по реке Гвоздна в бассейне Цны – левого притока Оки). Местность упоминается уже в духовной Ивана Калиты 1336 года. И вот по поводу этого названия А.М. Селищев (Избранные труды. М., 1968) проницательно заметил: «По-видимому, не с гвоздём, а с

гвоздом в значении “лес” связано было название волости *Гвоздна* между реками Москвой и Нерской».

В исторических и диалектных словарях русского языка слова *гвозд* “лес” нет (оно встретилось автору единожды в документе XV века в контексте: “в вотчине в Обедовце за рекою... по *гвость* к Салотче прямя”). Но оно присутствует во многих древнерусских топонимах (об этом далее) и известно в древней лексике западнославянских языков (др.-чешск. *hvozd* “лесистые горы”, др.-польск. *gwozd* “лес в гористой местности”). Возможно, что и у восточных славян оно означало не просто “лес”, а, скажем, “лес на холме”, но об этом мы сейчас судить не можем. Что достаточно ясно, так это то, что слово было активно в восточнославянских диалектах. Но явно не во всех. Е.М. Поспелов (Топонимический словарь Московской области. М., 2000) полагает название *Гвоздна* топонимическим наследием вятичей. Однако географическое распределение подобных названий говорит о другом.

Так, мы видим названия деревень *Гвоздово*, *Гвоздовичи*, *Гвозды* (3 села) в Белоруссии, *Загвоздь* у реки Можайка (басс. Зап. Двины), деревня *Загвоздь* у реки Скоковка (басс. Верхней Волги), *Гвоздово* на реке Ждыня (л.пр. Полю басс. оз. Ильмень), *Гвоздки* на озере Холмское (басс. Березайки – Л. пр. Мсты), *Гвоздино* (ныне *Старое Гвоздино*) на Мологе (XV в.), *Гвоздни* на реке Могоча биз Торжка (XVI в.), река *Гвоздинка* у Переславля-Залесского, река *Гвоздня* (правый приток Нудоли, приток Истры) известна с XVI века. Ареал этих названий в целом лежит вне вятичских территорий, но зато практически совпадает с исходной областью и зонами экспансии летописных кривичей. Как известно, вятичский (по Оке) и кривичский (по Мсте и Волге) потоки “встретились” как раз в районе Подмосковья.

Итак, названия подмосковных (а теперь уже московских) рек *Битцы* и *Гвоздянки* являются топонимическими памятниками, запечатлевшими лексические реликты разных восточнославянских диалектов.



ЭМОЦИИ В НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

Т. Г. ДМИТРИЕВА,
кандидат филологических наук

Специфика жанра сказки обуславливает своеобразие изображения эмоций ее персонажей. Рассказчик сосредоточен на занимательности и динамичности сюжета, этому подчинено описание психологического состояния героев.

Проследим, какими традиционными стилистическими приемами пользуются рассказчики, упоминая о чувствах и переживаниях действующих лиц, и для чего в сказке все-таки обращается на это внимание. Материалом для исследования послужили наиболее достоверные в языковом отношении сборники сказок: Зеленин Д.К. Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915, далее – *ЗВ*; Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914, далее – *ЗП*; Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. М.–Л., 1961, далее – *Н*; Ончуков Н.Е. Северные сказки, СПб., 1908, далее – *О*; Соколовы Б.М. и Ю.М. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915, далее – *С*; Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. М.–Л., 1964, далее – *Х*.

Перечень эмоций, испытываемых героями волшебных сказок, невелик.

Расставшись с близкими, они горюют: “Этот царь с месяц времени дожидал сына, не мог дождать, в печаль вдалса” (*О*. С. 38); “Берет его за руки царь, заплакал сам... И с того разу царь предался горести и предался старости” (*Х*. С. 54).

Сердятся на врагов: “Вот жар-птица осярдилась и на среднюю сестру свою...” (*ЗП*. С. 384); «Тогда царь гневно на них закричал: “Головы с плеч вам...”» (*О*. С. 185); “Яростью распалилась, вынимает свой острый меч...” (*Х*. С. 93).

Боятся опасностей: “Тогда Иван-царевич этой девичи утрашилса” (О. С. 13); “Спужался змей, свалился с Ивана-царевича...” (О. С. 42); “Он забоялся, не пошел” (ЗВ. С. 351).

Ощущение скуки может выступать в роли мотивирующей функции. Например, глаголы *соскучился*, *стосковался* выполняют в сказке функцию психологического объяснения причин отправки героя в путь: “Они очень скучали, потому что у них не было детей. Царь из-за этого не любил жить дома” (Н. С. 97); «Они жили, жили, он соскучился. “Я пойду, говорит, к своему отцу, матери побывать”» (Х. С. 126).

Скука выступает в роли мотивации и других поступков: “Сестра соскучилась одна дома и слюбилась с одним красивым парнем” (ЗВ. С. 30).

Эмоции персонажей и их переживания могут выражаться не только прямым глагольным названием, но и устойчивыми конструкциями с предложным управлением. Для выражения положительных эмоций сказочники часто используют конструкцию “от радости (с радости, на радостях)” + глагол: “А те на радостях пляшут” (ЗВ. С. 227); “Опять стали пировать да баловать на радостях” (Н. С. 172).

Сложные эмоциональные чувства героев передаются с помощью простых средств контрастного сопоставления двух глаголов: *радуется – плачет*. Так, например, изображаются противоречивые чувства отца, узнавшего о рождении сына, который должен быть отдан водяному царю: “Радуетя он своему счастью, а сам все плачет. Ну, жена подумала, что он от радости плачет...” (Н. С. 98).

Герои плачут от радости, выражая этим свою крайнюю степень душевного волнения: “Сестрица обрадовалась и взяла его под руки и сама заплакала” (С. С. 119). В сказке слезы при встрече – это слезы радости: “То сестра его выходит и со слезами его встречает” (ЗП. С. 208).

Сложный комплекс чувств, испытываемых героиней, передается с помощью традиционного словосочетания “горько заплакала”: “Узнала брата, горько заплакала” (Х. С. 94).

Но вообще эмоции, связанные с “горькими слезами”, ситуативно обусловлены безвыходным, отчаянным положением героя. Плачет девица, отданная на съедение змею в сюжете “Победитель змея”: “Тут сидит во стуле красавица-царевна, плачет горькими слезами” (ЗВ. С. 33); “Царска дочь сидит, слезами горючими уливаеця” (О. С. 41). Плачет герой, получивший невыполнимую задачу в сюжете “Пойди туда, не знаю куда”.

В некоторых сказках упоминание эмоционального состояния героя является необходимым для развития действия, то есть сюжетно-функциональным. Например, слезы героини должны пробуждать заснувшего героя, это уже не просто описание эмоций, а важная деталь сюжетного повествования: “Она его будила, не могла разбудить и заплакала горькими слезами. Слезину на щеку ему уронила; он проснулся...” (ЗВ. С. 225).

Сюда же относятся те эпизоды, в которых демонстрируемая печаль или слезы героев – это традиционный повод завязки “типového диалога”: «А сам плачет и рыдает. – “Об чем ты так плачешь и рыдаешь?” – спрашивает евоная жена. – “Как мне не плакать, как не тужить!...”» (С. С. 122); «Заходит Федор Водович в избушку, сидит царевна в избушке слезно плачет. Говорит Федор Водович: “Здравствуй, царевна, зачем сидишь, плачешь?” – “Как же мне не плакать, я свезена змею на съеденьё”» (О. С. 18).

При разворачивании такого “типového” диалога рассказчик может пользоваться широким диапазоном эмоций для передачи состояния героя – от задумчивости, печали до горьких слез: *прикручинился, запечалился, заплакал, горько заплакал, залился слезами, зарыдал*. Этот прием можно отнести к явлению градации эмоций.

Подавленное, расстроенное состояние героя выражается в сказке и через внешнюю пластику – “ниже плеч голову повесил”: “Ну ён головушку повесиу” (О. С. 280); “Он забрался в свою комнату, запечалился и повесил свою головушку ниже могучих плеч” (С. С. 123).

В приведенных примерах описание вида героя – с опущенной головой, потупленными глазами – сочетается с прямым названием эмоции: *запечалился, закручинился* и т.д. Однако эмоции, овладевшие героем, могут описываться только через его внешнее поведение. Например, в вариантах сюжета “Чудесное бегство” состояние героя выражается через жест – “схватил себя за рот”: «Пришел домой, его вышли из дому стрелять, жена ведеть мальчика за руку на шестом году. Он и сам себя за рот. “Ох-те мне, сына-то я и посулил”» (О. С. 162). Этот жест выражает “сильную эмоцию, которая вызвана тем, что он (жестикულიрующий. – Т.Д.) отрицательно оценивает себя или ситуацию, в которую он попал”, – считают современные исследователи (Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жестов. М.–Вена, 2001. С. 52).

Эмоция, переданная через жест, через движение, становится более “зримой”, “наглядно” выраженной.

Например, вместо того, чтобы сказать: “рассердился”, сказочник “изображает” эмоциональное состояние разгневанного персонажа: “увидала царевича, затопала на ево ногами” (ЗП. С. 57).

Если сказочник говорит, что у его героя “руки опустились”, то это воспринимается как внешнее выражение состояния отчаяния: “Приехал домой, а у него родился сын. Вот он сильно испугался, руки опустились, и сам не знает, чего будет делать” (ЗВ. С. 378).

Выразительное пластическое обозначение эмоции – “кинулся (пал) на колени (в ноги)” может иметь разные смыслы в зависимости от ситуации. Может предвартать просьбу о прощении: “Тут услышал государь, кинулся, пал на колени, просит прощенье” (Н. С. 326). Это может быть просьба о родительском благословении: «...Пошел сол-

нышку-батюшку падать во резвые ноги, просить благословеньича. Падал батюшке и матушке во резвые ноги. Они сказали: “Божьё да наше благословение”» (О. С. 7).

Падают на колени, выражая свои эмоции, и при встрече: “Царь пал на колени, с радости заплакал” (Х. С. 208); “И ён приходит к отцю на лицё и на коленка падаэ...” (О. С. 238). Для описания эмоций героев при встрече используется и клише “бросилась (кинулась) на шею”: “Ванюша пришел, она бросилась к нему на шею...” (Р. С. 201); “Она его узнала, кинулась к нему на шею...” (Х. С. 244). Вариант – “скоцила на ворот”: “Эта невеста ёго как увидела, скоцила с застоля к нему на ворот” (О. С. 218). Не только в бытовой, но и в волшебной сказке психологические состояния героев “не бывают длительными, они возникают быстро и также быстро претворяются в слова (реже) или в поступки (чаще) и сменяются другими состояниями” (Савушкина Н.И. Изображение внутреннего мира человека в русской социально-бытовой сказке // Фольклор как искусство слова. Вып. II. М., 1969. С. 77).

Эти глагольные ряды могут включать непосредственное обозначение эмоции (*обрадовалась, заплакал*), ее “жестовое”, “знаковое” выражение (*бросилась на шею*) и динамическую реакцию (*подбегает, выскочил*).

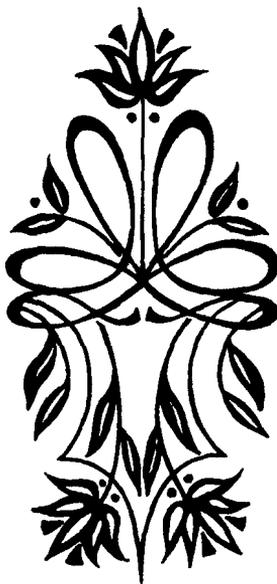
Нередко такие глагольные ряды однородных сказуемых образуют целые цепочки, например, последовательность вроде *есть – пить – гулять – веселиться*: “... И вси радуютця, веселятця...” (О. С. 238).

Так как еда в крестьянском сознании связана с весельем, это нашло отражение и в сказке: “И всякое кушанё появилось. И все пили-веселились” (ЗВ. С. 133).

Счастливый конец в сказке может описываться с помощью перечисления глаголов: “Все короли... пьют, гуляют, веселятся” (Х. С. 134).

Персонажи сказки бурно и энергично проявляют свои эмоции. Они чувствуют в полную силу, экспрессивно выражают свои переживания: “Когда увидел отец своего новорожденного, тогда упал замертво” (Н. С. 98).

Описание эмоций в сказке носит тесно связанный с сюжетом характер, подчиняется общим стилистическим законам создания сказочного текста и воплощается в устойчивых формулах, имеющих не только конкретно-наглядное, но и условно-знаковое выражение.



ХОЗЯИН

И. Б. СЕРЕБРЯНАЯ.

кандидат филологических наук

Вспомним с детства знакомые строки из “Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях” А.С. Пушкина:

И царевна к ним сошла,
 Честь хозяям отдала,
 В пояс низко поклонилась;
 Закрасневшись, извинилась...

В этом отрывке обращает на себя внимание необычная, “неправильная” с позиции современного русского литературного языка форма дательного падежа множественного числа *хозяям*. Мы говорим: *хозяевам*. Между тем именно эта непривычная для нас форма является естественной для существительного *хозяин*. Это слово, как и другие образования на *-ин*, опускающие во множественном числе этот суффикс и оканчивающиеся в именительном множественного на *-е (-ы)*: *крестьянин – крестьяне, татарин – татары*, должно было бы представить в именительном множественного форму *хозяе (хозяи)*; в косвенных же падежах соответственно ожидалось бы формы *хозяям, хозяями, хозяях*.

Однако в современном русском литературном языке существительное *хозяин* представляет нестандартное соотношение основ единственного и множественного числа, выступая во множественном числе с наращением *-ев*: *хозяин, -а, -у...*, но *хозяева, -евам, -евами* и т.д. В связи с этим слово *хозяин* может быть с полным основанием отнесено к числу грамматических загадок. Правда, сами по себе формы с наращением *-ев* вовсе не уникальны.

В истории русского языка вплоть до XVIII века широко употреблялись формы именительного множественного типа *сынове, зятеве, сыновя, зятевя, сынова, зятева* и т.д., которые были весьма характерны для существительных со значением лица. Подобные формы принимали и личные существительные с суффиксом *-ин*: *боярове(-я, -а), татарове (-я, -а)* и т.п., причем, вторичный элемент *-ев* мог распространяться из именительного множественного на косвенные, и возникали формы типа *татаровей – татаровям* и под. (Об этом подробнее: Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. М., 1957; Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981).

Однако в то время как остальные образования на *-ин* подчинились общим закономерностям, утратив формы со вторичным *-ев* (*татары, бояре* и под.), существительное *хозяин* сохранило осложненные формы множественного числа, которые в современном русском литературном языке единственно возможны. В этой поистине загадочной стойкости, с которой слово *хозяин* сохраняет формы множественного числа с наращением *-ев*, и проявляется грамматическая специфика этого слова на фоне иных образований подобного типа.

Чтобы разобраться в причинах необычного поведения слова *хозяин*, необходимо восстановить его историю. В этом плане очень важно, что это слово в русском языке не является исконным. Согласно данным этимологических словарей, слово *хозяин* было заимствовано из персидского языка через посредство тюркских. Первоисточником его является персидское *хожа* (*ходжа*), означающее “господин”. Эта этимология принимается всеми исследователями. Существующие здесь разногласия касаются лишь выявления конкретной тюркской среды, из которой слово *хозяин* пришло в русский язык. Так, одни ученые указывают на его связь с чувашско-булгарским “хозяин”, другие связывают русское *хозяин* с татарским “учитель, хозяин” (подробнее об этом в статье Иорданского А.М. Происхождение и история слова *хозяин* в русском языке // Ученые записки Владимирского пед. ин-та. Серия “Русский язык”. 1967. Вып. 1). М. Фасмер, собрав воедино все предположения, привел такие сведения: “Займств. из чув. *хожа, хижа* “хозяин”, тур. *ходжа*, крым.-тат., чагат., азерб., тат. *хожа* “учитель, хозяин, старец”. Непосредственно из этого источника происходит др. русск. *ходжа* “господин” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. IV).

Общеизвестно, что всякое заимствованное слово претерпевает в языке период фонетической, семантической и грамматической адаптации. И, конечно же, вопрос о грамматическом своеобразии существительного *хозяин* смыкается с вопросом о его освоении в русском языке.

Ранние случаи употребления тюркизма *ходжа* в русских памятниках относятся к XIV–XV векам. Он встречается в древнерусских памятниках деловой письменности и дипломатических актах, а в летописях – в качестве своеобразного почетного титула, присваиваемого знатым восточным купцам, послам, гражданским чиновникам и т.д. В период адаптации на русской почве слово *ходжа* могло выступать в различных фонетико-графических вариантах: *ходча*, *хоча*, *хочь* и др.: “Семир *ходча* жалобу положил” (1356 г.); “Послали есмя Уруз-*хочю* татарина; а Урус *хочь* все ведает” (1514 г.); “Град же взял индеиски Мелик-чан *ходя*” (1466–1472 гг.) и т.п. (Курсив в цитатах наш. – И.С.).

Но самым распространенным из всех вариантов является фонетический вариант *хозя*, на базе которого и возникло слово *хозяин* при помощи суффикса *-ин*: “А имя ми Офонасей, а бесерменьское имя *хозя* Исуф Хоросани”; “А се такова грамота послана с Шемерденем к *хозя* Асану” (1485 г.); “От великого князя *Хозе* Кокосу” (1475 г.) и т.п.

В приведенных примерах наглядно проявляется восприятие заимствованного слова *хозя* как чужеземного, нерусского, “бесерменьского”. Формы этого существительного характеризовались неустойчивостью и неупорядоченностью. Оно могло склоняться как по женскому типу: “*Исен-хозяю* зовут” (1504 г.), так и по мужскому: “с *Хозем* Муртозою” (1616 г.). Нередко слово *хозя* выступает как неизменяемое, сохраняя исходную форму: “Еще 5 кречетов на денги купити тому *Хозя* Махметю надобе – Крым” (1491 г.); “договоритьца бухарского царя с купчиною *Хозя* Наурусом” (1613 г.) и т.п. О формальной неупорядоченности этого существительного свидетельствуют также его различные морфологические вариации типа *хозе*, *хози*, *хозь*, *хозяй* и др. в единственном числе, в именительном падеже, встречающиеся в текстах XVI–XVII веков наряду с *хозя*: “*Хози* Асан” (1588–1593 гг.) “*Хозе* Муртаза” (1615 г.); “*Хозь* Муртоза”; “*Хозяй* Мурза” (1500 г.) и т.п.

Известно, что заимствованные слова, оканчивающиеся в форме именительного падежа на какой-либо гласный, по мере их освоения в русском языке нередко обрастают *-j-*. Так, при *желе*, *кофе*, *филе* возникали *жилей*, *кофей*, *филей* и т.п. Слово *хозяй* в том же значении, что и в русском, отмечается в украинском языке (Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Київ, 1909. Т. 3). Вероятно, образование *хозяй* сыграло роль промежуточного звена при переходе от тюркизма *хозя* к освоенному русским языком *хозяин*. Сюда же можно включить отношения типа *вой* – *воин*, где слово также осложняется суффиксальным *-ин*. В древнерусском языке встречались формы именительного мно-

жественного *воеве*, *Берендееве*, *воробьева*, *мравиева* и др., образованные от слов с основой на *j*- (Шахматов. Указ. соч.), а форма родительного множественного *воев*, как писал об этом Ф.И. Буслаев, «встречается еще и у позднейших писателей, например у Батюшкова: "... и томный сон отягощает лежащих *воев* среди полей"» (Историческая грамматика русского языка. М., 1959).

В названной уже статье А.М. Иорданского утверждается, что первые свидетельства употребления слова *хозяин* как нарицательного дают памятники XVII века, хотя в значении личного имени собственного это слово встречается и в XVI веке. Например, в "Дворовой тетради" 50-х годов XVI века нередко упоминается имя опричного казначея *Хозяина* Юрьевича Тютин. Кстати, С.Б. Веселовский в "Ономастиконе" (М., 1974) приводил иной вариант этого имени: *Хозя Юрьевич Тютин*. Однако утверждение А.М. Иорданского о том, что *хозяин* в нарицательном употреблении впервые встречается лишь в текстах XVII века, нуждается в уточнении, ибо мы зафиксировали это слово в памятниках XVI века: "А со всего каравана *хозяин* несет царю поминок" (1500 г.); "Поехал к тебе наш *хозяин* Усеин с семь нашим ярлыком"; "А пошлются на суде ищя и ответчик из виноватаго *хозяина* одного человека, и тое правды не отставливати" (1556 г.; Хитрово Н.П. Законодательные памятники XVI и XVII столетий, собранные В.Н. Татищевым. М., 1905).

Если в текстах XVI века мы находим лишь единичные случаи использования слова *хозяин*, то памятники XVII века свидетельствуют о широте употребления этого слова. К началу XVII века относится первая словарная фиксация слова *хозяин*: "hozaine, the goodman of a hause" (Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса, составленный в Холмогорах в 1618–1619 годах. Л., 1959). А.М. Иорданский совершенно справедливо замечает по этому поводу, что "запись на Севере уже в первой четверти XVII века слова, заимствованного на юге (у персов и татар), может свидетельствовать об интенсивности распространения слова *хозяин* по территории русского языка". И все же чаще всего в этот период слово *хозяин* встречается в источниках, отражающих связи России с Востоком: "И *хозяин* де его продал в Турской же город Аван" (1667–1672 гг.); "И ево де Олешку купил у тово ево *хозяина* трюхменца астороханец Степан Бахмуров" (1645 г.); "Приехал он ис Персидцкие земли в Астарахань с *хозяином* своим с-ындейцом торговым человеком с Мулою" (1675 г.) и т.п.

Как это видно из приведенных примеров, в единственном числе существительное *хозяин* ничем не отличалось в своем склонении от других образований на *-ин*. Иначе обстояло дело во множественном числе. Уже с начала XVII века наиболее характерными формами множественного числа для существительного *хозяин* были формы с осложненной основой, составляющие грамматическое своеобразие

этого слова в наши дни. Так, в именительном множественного встречаются формы с окончанием *-е*, закономерные для образований с суффиксом *-ин* (сравните: *бояре, крестьяне*), формы с окончаниями *-а* и *-я*, (*хозяева и хозяевя*), но все эти формы содержат вторичное наращение *-ев*; например: “В нынешнем во 124-м году торговые люди и бусные *хозяеве* пошли были из своих земель в Астарахань” (1615 г.); “И ту соль *хозяева* в отвоз повезли” (1650 г.); “И *хозяевя* де ваши все про то в Асторохани на моих людях возьмут” (1646 г.) и т.п.

В родительном и винительном падежах множественного числа отмечается широкое распространение формы *хозяев*: “Торговых людей и бусных *хозяев*”; “Притти после иных *хозяев* судов долгое время спустя” и т.д. Форма *хозяев*, единственно возможная в современном русском языке, заслуживает особого внимания. Она естественна от образования *хозяи*, ибо для имен с основой на *-j* закономерны формы родительного множественного с окончанием *-ев*: *краев, устоев* и т.п. Для существительных же с суффиксом *-ин* были характерны формы родительного множественного с нулевым окончанием: *боярин – бояр, крестьянин – крестьян* и т.п. Следовательно, от *хозяин* ожидалась бы форма родительного множественного *хозяи*.

Прочное закрепление в языке формы *хозяев* объясняется, очевидно, тем, что окончание *-ев* в этой форме сочеталось с остальными формами множественного числа данного имени, содержащими наращение *-ев*. Иными словами, она благодаря своему структурному оформлению вписывается во множественную парадигму существительного *хозяин*. При этом окончание *-ев* в форме *хозяев* воспринималось таким же вторичным наращением, своеобразным суффиксом, как элемент *-ев* в остальных падежах множественного числа. В связи с этим носители языка могли ощущать как бы “неполноту”, незаконченность формы *хозяев*, что выражалось в появлении *хозяевов* (Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке. М., 1931. Вып. 2) и *хозяевей*: “И ничем *хозяевей* их <...> вор Стенька Разин не уверивал” (1670 г.).

И в других падежах множественного числа, судя по текстам XVII века, существительное *хозяин* также имеет вторичное наращение *-ев*: “Торговым людям и бусным *хозяевям* убытки чинит великие” (1615 г.); “На торговых людех и на бусных *хозяевях* емлет толмачного” (1615 г.); “При *хозяевах* жили” (1665 г.). Неосложненные же формы существительного *хозяин* встречаются очень редко. В источниках XVII века после длительных поисков мы обнаружили лишь три таких примера: “И они де о том пишут к своим товарищем и к *хозяем*” (1649 г.); “И того *хозяем* их в вино не ставить” (1653 г.); “И они дают и *хозяем* своим” (1675–1676 г.).

И в языке более позднем неосложненные формы множественного числа от существительного *хозяин* исключительно редки. К приведенному уже примеру из сказки А.С. Пушкина можно добавить случаи

употребления подобной формы И.И. Дмитриевым: “*Хозяям* клад был гость такой” (1797 г.). Вероятно, в литературный язык такие формы проникли из диалектов. Так, С.П. Обнорский отмечал наличие неосложненных форм существительного *хозяин* в южновеликорусском наречии: “*Хозяи* Пореч. и Зубцов. Мещов *хозяи* и *хозяя* Жиздр... дат. *хозяям* Касим” (Обнорский. Указ. соч.) Однако, судя по материалам Диалектологического Атласа русского языка, и в южновеликорусских говорах подобные формы почти не встречаются. В картотеке Южного тома (вопрос 80-а о формах именительного падежа множественного числа существительных) неосложненные формы употреблены лишь дважды. В целом же современные диалекты так же, как и литературный язык, дают картину широкого распространения форм множественного числа с наращением *-ев* от существительного *хозяин*.

Итак, складывается впечатление, что слово *хозяин* на протяжении всей его грамматической истории всеми силами удерживает автономию, сопротивляясь закреплению закономерных падежных форм. Каковы причины столь необычного поведения этого слова? Можно предположить, что дело здесь в характере семантических связей слова *хозяин* в период его адаптации в языке с тюрко-иранским заимствованием *хозя* и его вариантами, в частности, с образованием *хозяй*. Материал древнерусских письменных памятников XV–XVI веков свидетельствует о том, что слово *хозяй*, которое, по-видимому, сыграло роль промежуточного звена при переходе от тюркизма *хозя* к освоенному русским языком *хозяин*, совпадало в значении с *хозя* “почетный титул для именованного знатного лица восточного происхождения”.

Особенно наглядно выявляется это совпадение в тех случаях, когда слова *хозя* и *хозяй* встречаются в одном и том же контексте: “Кафинской арменин болен *Хозюю* зовут... Нынеча того *Хозяя* болного гостя арменина (...) отпустил бы еси” (1498 г.); “И приехали деи (...) от Аблез бакшея в Васторохань два татарина, Уракчеем зовут (...) да Саварь *Хозеем* зовут” (1500 г.); “Аблез бакшей посылал в Астрахань своих людей Уракчяка да Сюерь *Хозю* с грамотою” (1500 г.). Следует также иметь в виду случай вариантного употребления *Хозя* – *Хозяи* в “Летописце русском” (1553–1563 гг., список конца XVII в.): “Девлет – *Хозя* [вариант – *Хозяи*]” (Летописец русский. Московская летопись. М., 1895).

На первых порах совпадало в значении с *хозя* “почетный титул” и образование *хозяин*. Вот иллюстрирующий это пример, где *хозяин* и *хозя* взаимозаменяют друг друга: “Поехал к тебе наш *хозяин* Усеин с сем нашим ярлыком... И нынеча бы ты, нас для, с того *хозя* Сеиновы рухляди тамги не велел взять” (1508 г.).

Но уже в начале XVI века в языке утверждается *хозяин* как “владелец, собственник”, причем первоначально по отношению к лицам

восточного происхождения: “А со всего каравана *хозяин* несет царю поминок” (1500 г.); “Кизылбашским торговым людем и бусным *хозяевем* убытки чинить ли?” (1615 г.); “Смилуйся, пожалуй меня, шах Ба-сова купчину и... бусных *хозяев*” и т.п. Устойчивое сочетание *бусные хозяева* и памятниках XVII века обозначало богатых купцов-судовладельцев с Востока. Интересен случай, где в одном и том же контексте осмысленно и дифференцированно употреблены слова *хозя* “почетный титул” и *хозяин* “владелец, собственник”: “А говорил *Хозя* Анат, чтоб те деньги дати *хозяину* ево и Казани” (1616 г.).

Но, обособившись от *хозя* “почетный титул” в смысловом отношении, *хозяин* “владелец, собственник” должно было обособиться и формально. Между тем неосложненные формы множественного числа типа *хозяи* – *хозяям* были двусмысленными, ибо могли соотноситься как с *хозя* – *хозяй* “почетный титул”, так и с *хозяин* “владелец, собственник”. Это и могло повести склонение существительного *хозяин* по иному руслу, в связи с чем данный тюркизм рано закрепляет и стойко сохраняет формы множественного числа с наращением *-ев*. Сближение же с образованиями типа *татарове*, *боярове*, *кумове*, *сынове*, *зятеве* и подобных сыграло в этом процессе роль поддерживающего фактора.

Республика Татарстан,
Казань



***Гренадер и мушкетёр:* коллеги с разными судьбами**

Л. В. ИПОЛИТОВА

Слова *гренадер* и *мушкетёр* встречаются преимущественно в литературных произведениях, связанных с далеким прошлым. При этом не всегда ясно, как следует читать давно написанные, например, всем известные строки из бессмертного “Горя от ума” А.С. Грибоедова:

“[Хлестова:] Вы прежде были здесь... в полку... в том... в гренадерском?”

[Скалозуб:] В его высочества, хотите вы сказать, Ново-землянском мушкетерском”.

Как мы видим, прилагательные *гренадерский* и *мушкетерский* рифмуются, однако если следовать рекомендациям современных орфоэпических справочников, произносить следует *гренадёрский*, но: *мушкетёрский* (Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. М., 1983; подробнее см.: Воронцова В.Л. Произношение слова *мушкетер* // Русская речь. 1970. № 1). Объяснение этому заключается в истории самих слов.

Существительное *мушкетер* исторически соотносится с названием оружия *мушкет*: “воин, вооруженный мушкетом” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1982. Вып. 9). Словари XVIII–XIX веков отмечают и другие заимствования: *мушкетир*, *мушкетер*, *мушкатер*, *мускетер*, отражающие формы, представленные в разных европейских языках: французском *mousquetaire* (стар. *mousquetier*), немецком *Musketierer* (стар. *Musquetierer*) и др. (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III).

Любопытную картину представляет собой распределение заимствованных вариантов в русском языке XVIII века, в то время как словари концентрируются на конкуренции форм *мушкетер* – *мушкатер*, переводы отдают предпочтение обусловленной влиянием французского вокализма форме *мускетер*: “...сие была забава, употребляемая молодцами фамильными и королевскими мускетерами” (Мерсье А.С. Картина Парижа. Пер. А.А. Натова. СПб., 1786); “служители гостиничные гораздо более оказывали уважения к нему, нежели к двум сидевшим там в углу мускетерам” (Письма персидския. Творения г. Монтескье. Пер. Е. Рознотовского. СПб., 1792). Однако к началу XIX века и в переводах, и в лексикографической практике возобладал вариант *мушкетер* (Зинова Н.В. Галлицизмы в русском языке. Баку, 1997). К началу XX века, в связи с ростом активности заимствованного суффикса *-ёр* (франц. *-eur*), распространение получила форма *мушкетёр* (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. 1905. Т. II; Стоян П.Е. Малый толковый словарь русского языка. М., 1916), оказавшаяся перспективной и закрепившаяся в литературном языке.

Несмотря на то, что в прошлое отошла сама реалья, обозначаемая словом *мушкетер*, исторические романы и фильмы не дали ему выпсть из употребления. Кроме того, герои этих фильмов и книг обычно сражаются на шпагах, в связи с чем выработался журналистский штамп: фехтовальщиков в СМИ стали называть *мушкетерами*.

Иная судьба ожидала заимствование *гренадер*. Гренадеры имели на вооружении *гранату*, или, как еще говорили, *гранату* – ручной разрывной снаряд для метания. Горячая граната была эмблемой русских гренадерских полков (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 2001. Т. I). В начале XVIII века от названия оружия было образовано существительное *гранатник* – солдат, бросающий гранаты в противника. Но, как и слово *мушкетник*, его вытеснили формы иноязычного происхождения: *гренадер*, *гранодер*, *гренадир*, *гранодир*, связанные с несколькими источниками: итальянское *granatiere*, старочешское *granadýr*, старопольское *granodier*, немецкое *Grenadier* “с поправкой (*gre > gra*) на русской почве” (Черных. Указ. соч.).

Эти варианты конкурировали до конца XVIII века и уступили место форме *гренадер* (контаминация франц. *grenadier* и старопольск.

granodier) лишь в начале XIX века, что, очевидно, было связано с новым значением, которое получило рассматриваемое слово: “солдат отборных полков” (Черных. Указ. соч.).

XX век внес свои коррективы: под влиянием растущей продуктивности суффикса *-ёр* появилась форма *гренадёр* (Стоян. Указ. соч.). Возможно, именно она возобладали бы в языке, как это произошло со словом *мушкетёр*, но название военнослужащих отборных полков стало историзмом, покинув живое употребление, и новая форма не успела закрепиться. Тем не менее, поскольку буква *ё* в русской графике является факультативной, неизвестное слово часто произносится современным читателем с опорой на активную модель: *гренадёр*. Не случайно Б. Окуджава в стихотворении “Прощание с новогодней елкой” вынужден был внести изменения в строфу:

И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои ухажеры?

В окончательной редакции *ухажеров* сменили *кавалеры*.

Возвращаясь к произведению А.С. Грибоедова, отметим, что оно требует чтения с опорой на старое произношение: *гренадёрский*, *мушкетёрский*, современное тем реалиям, которые обозначали эти слова.



ХАЛЯВА, ХАЛЯВЩИК

И. П. СУСЛОВА

Вошедшее в русский разговорный язык жаргонное слово *халява* эквивалентного по значению существительного не имеет и толкуется в словарях как “то, что получено даром, без вложений, затрат или за чужой счет”.

Производное этого слова *халявщик* употребляется как оскорбительное при характеристике человека, “склонного получать что-нибудь даром или за чужой счет, на халяву”, а также “недобросовестного, неумелого работника”. Эквивалентами ему могут быть существительные *бездельник*, *нахлебник*.

Особую популярность это слово получило благодаря имевшей в свое время успех телевизионной рекламе с ее героем Леной Голубковым, в которой брат Лени оскорбительно называет его халявщиком, на что получает ответ: “Я не халявщик, я компаньон”.

Слова *халява* и *халявщик* в отрицательном значении стали употребляться во времена сталинских лагерей. Само по себе слово *халява* не является неологизмом. Оно зафиксировано еще словарем В.И. Даля, который толкует его как “сапожное голенище, широкий и короткий машинный рукав”. Кроме того, это слово относится к терминологической лексике области стеклодувного производства. Оно обозначает выдутый большой стеклянный пузырь вытянутой формы, т.е. формы голенища, рукава. Такой пузырь назывался *халявой*. Выдуть халяву мог только физически сильный, имевший большой опыт стеклодув, халявщик. В стеклодувном производстве такие мастера высоко ценились. Следовательно, первоначально ни *халява*, ни *халявщик* никакого отношения к легкому труду не имели. Лишь в гугаговских мастерских, где заключенные не были заинтересованы в труде, где «бесмертные гугаговские изобретения – “туфта”, т.е. производство воздуха и “халява”, т.е. получение денег за воздух» [Толковый словарь русского языка конца XX в.) стали способом обмана и выживания.

Если первоначально основным смыслом *халявы* являлась ее вытянутая форма, то в дальнейшем главной семей производимого предмета стало содержание, т.е. воздух и его переносное значение “пустота”, “ничего”. Таким образом продукт тяжелого труда стеклодува (халява) превратился в свою противоположность – “наполнять воздухом”, т.е. получать что-то просто так, без труда: *на халяву*.



КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ

Е. В. СИТНИКОВА,

кандидат педагогических наук

В грамматике современного русского языка есть моменты, которые вызывают затруднения при традиционном синтаксическом разборе и расстановке знаков препинания в предложении. Они связаны с существованием “загадочной” части речи – категории состояния, или безличных предикативов. Сложность заключается в том, что существительные, качественные краткие имена прилагательные и качественные наречия, выступая в нетипичной функции предиката в безличном предложении, изменяют категориальную отнесенность и приобретают значение состояния: “Лицо его было холодно”; “Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки” (Горький); “Вам холодно немножко” (Тургенев).

В первом примере “холодно” выражено кратким именем прилагательным среднего рода и входит в состав сказуемого в двусоставном предложении. Во втором – наречие, выполняющее синтаксическую функцию обстоятельства образа действия. В третьем предложении слово “холодно” нельзя отнести ни к именам прилагательным (так как нет предмета, признак которого оно бы непосредственно обозначало), ни к наречиям (так как слово не выражает признака действия или другого признака).

Рассмотрим еще один пример: “Теперь уж мне влюбиться *трудно*, Вздыхать *неловко* и *смешно*, Надежде верить *безрассудно*, Мужей обманывать *грешно*” (А.С. Пушкин. Курсив мой. – Е.С.). Здесь сочета-

ющиеся с инфинитивом выделенные слова также нельзя отнести к традиционным наречиям и кратким формам прилагательных. Что же это такое? Обратимся к научным фактам.

Первоначальные попытки осмыслить природу безличных предикатов предпринимались еще в трудах русских языковедов XIX века. Общим для них было истолкование этих слов как сходных с глаголом. Так, А.Х. Востоков рассматривал предикативы в том разделе своей грамматики, где речь идет о безличных глаголах (Востоков А.Х. Русская грамматика. СПб., 1859. С. 80–81). Известный русский языковед Н.П. Некрасов квалифицировал слова *полно*, *смешно* как своеобразные формы глагола, произведенные от прилагательных (Некрасов Н.П. О значении форм русского глагола. СПб., 1865. С. 248). Академик А.А. Шахматов, классифицируя наречия, отмечает в разделе “Наречия бытия, состояния, глагольные”: “Быть может, сюда же: *холодно*, *жарко*, *жалко*, *боязно*, *страшно*, *морозно* и т.д.” (Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 503). Касаясь синтаксических свойств, автор указывает на функцию сказуемого. А.М. Пешковский, перечисляя способы выражения сказуемого, отмечает слова, «которые замечательны тем, что не будучи наречиями, т.е. не обозначая признака, употребляются тем не менее только при глаголах, и при том не при всяком глаголе, а почти исключительно при глаголе “быть” (нельзя было – нельзя будет, стыдно было – стыдно будет...)» (Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 1956. С. 166).

Впервые вопрос о лексико-грамматической самостоятельности безлично-предикативных слов был поставлен в статье академика Л.В. Щербы “О частях речи в русском языке”. Обратив внимание на то, что в русском языке остается “ряд слов... подведение которых под какую-либо категорию затруднительно” (*нельзя*, *можно*, *надо*, *пора*, *жаль* и т.п.), ученый вначале относит их “по формальному признаку неизменяемости” к наречиям, подчеркивая, что эти слова “употребляются со связкой и функционируют как сказуемое безличных предложений. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не подпадают под категорию наречий, так как не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию” (Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Сборник “Русская речь” под ред. Л.В. Щербы. Л., 1928. С. 16). К приведенным выше словам автор присоединяет *холодно*, *светло*, *весело* и другие в предложениях: *На дворе становилось холодно*; *В комнате было светло*; *Нам было очень весело* и т.п. “Может быть, – пишет Л.В. Щерба, – мы имеем дело здесь с особой категорией состояния... Формальным признаком этой категории были бы неизменяемость, с одной стороны, и употребление со связкой, с другой” (Там же. С. 17). И далее: “... это слова в соединении со связкой, не являющиеся, однако, ни полными прилагательными, ни именитель-

ным падежом существительных; они выражаются или неизменяемой формой, или формой существительного с предлогом, или формами с родовыми окончаниями: *-н* для мужского рода, *-а* для женского рода, *-о*, *-э* (искренне) для среднего рода, или формой творительного падежа существительных (теряющей тогда свое нормальное, то есть инструментальное значение)” (Там же); “Если не признать наличия в русском языке категории состояния, то такие слова, как *пора*, *холодно*, *навеселе* и т.п. все же нельзя считать наречиями, и они остаются вне категорий” (Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 91).

Формальными признаками данной категории, по мнению ученого, являются неизменяемость, употребление со связкой, независимость от глаголов и существительных. “Значение состояния может выражаться и другими частями речи, например, краткими прилагательными (я готов, я должен, я рад), глаголами (я веселюсь, он сердится, он грустит), сочетанием существительного с глаголом-связкой (он был солдатом, я был трусом в этой сцене, я был зачинщиком в этом деле)” (Там же).

После работ Е.М. Галкиной-Федорук категория определяется как класс безлично-предикативных слов со значением состояния (человека, природы, окружающей среды). Но и при таком единообразном подходе словарный состав данного лексико-грамматического разряда до сих пор строго не определен: его границы то сужаются, то расширяются. К безлично-предикативным словам на *-о* со значением состояния, представляющим ядро категории, некоторые лингвисты относят также страдательные причастия на *-о*, *-то* типа *пито-едено*, *суждено*, *приказано*, *запрещено* (В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-Федорук, И. Сапожников, Л.А. Коробчинская); краткие формы имен прилагательных типа *рад*, *готов*, *должен*, *обязан* (В.В. Виноградов, В.П. Тимофеев, Л.А. Коробчинская); фразеологические сочетания типа *не под силу*; *не по себе* (В.В. Виноградов, В.М. Панфилов, А.И. Валькова, А.Н. Тихонов); глаголы типа *хватит*, *будет* (А.Н. Тихонов). Не совпадает у разных лингвистов и количество слов категории состояния, соотносимых с именами существительными.

Большое значение в развитии теории безлично-предикативных слов имело исследование академика В.В. Виноградова, изложенное в его книге “Русский язык” в 1947 году. Под категорию состояния, по его мнению, подводятся несклоняемо-именные и наречные слова, которые имеют формы времени и употребляются только в функции сказуемого. Слова, относящиеся к этому разряду, выражают “недействительное” состояние, которое может мыслиться безлично или приписываться тому или иному лицу. Подчеркнув, что категория состояния развивается в современном русском языке преимущественно за счет наречий и имен прилагательных, В.В. Виноградов причисляет к ней

слова *рад, горазд, должен, солон* и т.д. и выделяет четыре лексико-семантические группы:

1) слова, обозначающие чувство, эмоциональное состояние, психологическое переживание: *грустно, весело, радостно* и т.п.;

2) слова, называющие физическое состояние: *голодно, щекотно, дурно* и т.п.;

3) слова, обозначающие состояние природы: *сухо, тепло, темно* и т.п.;

4) слова, именующие состояние окружающей среды: *уютно, пустынно* и т.п.” (Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Учпедгиз, М.–Л., 1947. С. 336).

Развивая учение о категории состояния, Н.С. Пospelов почти целиком разделяет точку зрения В.В. Виноградова, но не включает в данный разряд краткие прилагательные, так как они изменяются по родам и числам, и краткие страдательные причастия, потому что они имеют формы залога и вида (Пospelов Н.С. В защиту категории состояния. Вопросы языкознания. 1955. № 2). А.Н. Тихонов указывает, что слова категории состояния употребляются “в функции сказуемого безличного предложения или в роли сказуемого двусоставного предложения с подлежащим-инфинитивом” (Тихонов А.Н. Категория состояния в современном русском языке. Самарканд, 1960. С. 5). Кроме того, он считает, что безлично-предикативные слова – категория аналитическая, имеющая формы всех трех времен и двух наклонений (изъявительного и сослагательного), а при полутвлеченной связке есть и формы вида. В “Русских грамматиках” 1970 и 1980 гг. такие слова рассматриваются под названиями “предикативы” и “предикативные наречия”.

Что же представляет собой данный разряд? По внешнему виду слова категории состояния похожи на краткие прилагательные среднего рода и наречия (*жарко, тосливо*), на существительные (*лень, пора*), но это лишь грамматические омонимы. Безличные предикативы отличаются от кратких форм прилагательных отсутствием согласования в роде и числе с субъектом-подлежащим, так как они неизменяемы и при них не может быть субъекта в именительном падеже. Более того, слова категории состояния встречаются только в безличных конструкциях, являясь сказуемым, то есть ядром предложения. Они могут управлять формой дательного падежа субъекта (*мне грустно*), винительного объекта (*больно руку*), родительного с предлогом (*далеко до города*), творительного и предложного с предлогом (*шумно за дверь, жарко в комнате*).

От наречий такие слова отличаются тем, что никогда не определяют личную форму глагола. Если безличные предикативы часто обозначают состояние (в статике), присущее какому-либо субъекту в дательном падеже, то многим наречиям не свойственно значение состо-

яния вообще (*быстро, медленно, храбро, резко, постепенно*), следовательно, они не могут стать сказуемыми и трансформироваться в категорию состояния. В отличие от существительных обозначают не предмет, а оценку состояния относительно протяженности во времени (*пора* идти, *время* вставать) или волевое состояние с морально-этической точки зрения (*стыд* смотреть на это; просто *мука* глядеть на нее; *грех* обижать стариков). Эти слова не изменяются и употребляются только в составе сказуемого безличного предложения.

Категория состояния включает слова, которые имеют аналитические формы словоизменения, выражают недействительное состояние (человека, природы, среды), не связанное с идеей его производителя, и выполняют функцию главного члена в безличном предложении. Слова этого разряда имеют аналитические категории времени, вида, наклонения (изъявительного и сослагательного). Историю развития данного языкового явления связывают со способностью прилагательных выполнять функцию составной части сказуемого, что переводит их в сферу предикативных отношений, когда создаются реальные предпосылки для отвлечения признака от его носителя и изменения синтаксической позиции исходного прилагательного. Слово становится грамматическим трансформом (*Я одинок. – Мне одиноко*).

Для выделения частей речи существуют определенные критерии: комплекс семантических, морфологических, синтаксических и словообразовательных признаков. Рассмотрим основные признаки категории состояния.

Семантически она объединена общим значением состояния, которое получает категориальное выражение и позволяет выделять различные смысловые группы данных слов (физическое или психическое состояние субъекта, состояние предмета, окружающей среды и т.п.).

Морфологические признаки: 1. Неизменяемость (отсутствие форм словоизменения). 2. Наличие у большинства слов суффикса *-о*. 3. Аналитические категории времени, вида и наклонения, формы сравнения (синтетические и аналитические) в словах на *-о*, что объясняется их происхождением от кратких качественных имен прилагательных и качественных наречий (Стало *жарко*, но может быть еще *жарче* (*более жарко*); В этой комнате *жарче* всего). 4. Соотнесенность с теми прилагательными, наречиями и существительными, от которых они произошли: Ее лицо очень *грустно* – прилагательное; Она *грустно* смотрела на меня – наречие; Мне *грустно* потому, что весело тебе – категория состояния. Стояла осенняя грибная *пора* – имя существительное; *Пора*: перо покоя просит... – категория состояния. 5. Выпадение ряда безлично-предикативных слов из системы соотношений (*стыдно* не соотносится со словом *стыдный*, *боязно* – с *боязливый*, *совестно* – с *совестный*). 6. Ряд слов категории состояния в современном русском языке абсолютно не имеет омонимов (*жаль, можно, нуж-*

но, надобно, должно, щекотно, невдомёк, невмочь, невогону и др.), что говорит об их морфологическом своеобразии и дает право некоторым языковедам считать такие слова ядром категории.

Синтаксические признаки: 1. Функция безлично-предикативного члена в структуре сказуемого. 2. Обязательная синтаксическая связь со связкой наличествующей, или нулевой отвлеченной (*быть*), или полуотвлеченной (*стать, становиться, делаться, сделаться, казаться, показаться, оказаться*). 3. Категория состояния выступает независимым главным членом безличного предложения, являясь его ядром, а значит, не вступает в подчинительную связь с другими словами.

Словообразовательно данная группа тоже не похожа на другие: 1. Морфолого-синтаксический способ образования слов, то есть в результате грамматической трансформации различных частей речи. 2. Общая словообразовательная особенность с прилагательными и качественными наречиями: возможность образования форм субъективной оценки: *темненько, жарковато, холодновато, спокойненько* и т.п.

Только опираясь на существующую систему признаков, можно признать наличие в современном русском языке такой части речи, как категория состояния. Причем “позднее сформировавшиеся грамматические категории определяются больше синтаксически, чем морфологически” (Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958. С. 128), поэтому синтаксический критерий сыграл решающую роль при определении морфологического статуса данной группы слов.

Практика показывает, что значительное количество пунктуационных ошибок приходится на долю сложносочиненных конструкций, часть которых включает в себя предложения со словами типа: *весело, грустно, тихо, нужно, можно, нельзя* и др. (Мне *грустно*, и дождь не проходит...; *Тихо, солнечно*, и первые клейкие листочки кажутся на солнце изумрудными; *Нужно* делать уроки, и я нехотя открываю учебник; На улице *тепло*, и *нужно* скорее бежать во двор). Сведения о “новой” части речи должны облегчить нахождение грамматической основы в безличном предложении, что очень важно для соблюдения пунктуационных норм.

Н. Н. Дурново. ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Интерес к истории своего народа, письменности, культурным и духовным ценностям славян, появившийся в последнее время в нашем обществе, делает необходимым переиздание древнерусских письменных памятников. Следует отметить, что и в доперестроечный период выпускались наиболее ценные и интересные историко-культурные памятники, например, Киевская псалтирь, Изборник Святослава 1073 года, Апракос Мстислава Великого (М., 1983), Остромирово Евангелие, Изборник Святослава 1076 года (М., 1965) и ряд других.

Подобные издания появляются и в наше время, однако текстов, сохраняющих оригинальный облик начертаний букв, все-таки не хватает, даже сборники упражнений по исторической грамматике русского языка содержат отрывки из письменных памятников в адаптированном виде, теряющем, как правило, не только ряд важных историко-лингвистических реалий, но упрощающем смысловую нагрузку источника. Недавно переизданная “Хрестоматия по истории русского языка” С.П. Обнорского и С.Г. Бархударова (М., 1999) в какой-то степени восполняет существующий дефицит учебной литературы по истории русского языка, однако это едва ли не единственный за последние годы труд такого свойства.

Важным событием стало переиздание “Хрестоматии по истории русского языка” Н.Н. Дурново, подготовленное О.В. Никитиным (М., 2000). Подбор текстов в ней не дублирует хрестоматию С.П. Обнорского и С.Г. Бархударова: наряду с такими классическими памятниками, как “Грамота великого князя Мстислава Володимировича и его сына Всеволода”, “Вкладная Варлаама Хутынскому монастырю” и др., “Хрестоматия” Н.Н. Дурново содержит интересные, насыщенные дидактическим материалом отрывки из Архангельского Евангелия, из Галицкого Четвероевангелия, Пролога Московской Синодальной Типографии и др. Тексты из Русской Правды в хрестоматиях С.П. Обнорского и Н.Н. Дурново не совпадают, они прекрасно дополняют друг друга. Несмотря на небольшой объем книги (50 с.), в ней представлены разные жанры письменных памятников канонического и делового (бытового) характера, относящиеся к XI–XV вв. и отражающие языковые особенности севера, юга и запада Древней Руси.

Приведенный в “Хрестоматии” отрывок из Архангельского Евангелия содержит разнообразные грамматические формы, в том числе формы двойственного числа (“ведена быста”, “наю”, “въ роуць”, “премлевъ”), супин (“ведена быста оубить”), аналитические формы повелительного наклонения (“да испросять”, “да погоубять”, “да рас-

пята боудеть”, “да распнюуть” и др.), не так часто встречающиеся в памятниках старославянского и древнерусского языков (в сравнении с формами аориста, имперфекта и т.д.).

Наличие словаря значительно облегчает перевод текстов, способствует более точному их восприятию и анализу языковых явлений. Некоторые слова, например, *велебный* (“титул государя”), *волостель* “правитель”, *вѣкъ* “увече”, *жаль* “могила”, *задница* “наследство”, *погостъ* “стан, поселок” и др., отсутствуют в словарях хрестоматий и сборников упражнений по исторической грамматике русского языка (см., например, работы И.А. Василенко, А.А. Дементьева). Между тем именно такие слова, как *жаль*, *вѣкъ*, *погостъ* и др., интересны с точки зрения исторической лексикологии: семантические изменения, произошедшие в них с течением времени, дают возможность проследить эволюцию в области словарного состава языка.

В свое время академик Е.Ф. Карский, одним из первых написавший рецензию на этот труд Н.Н. Дурново, подчеркивал, что “Хрестоматия” в значительной мере восполняет имеющийся пробел, добавив при этом: “Мне кажется только, что следовало бы дополнить XI век, не ссылаясь на хрестоматию проф. М.Н. Каринского, так как приобретение двух пособий для студентов не всегда бывает возможно” (Русский филологический вестник. № 1. 1915. С. 183–184). Хочется надеяться, что сейчас, когда существует возможность выбора того или иного издания, нынешнее поколение исследователей и филологов-практиков обратится именно к классическому пособию Н.Н. Дурново, сохранившему не только дыхание эпохи и “культурную” атмосферу жизни русского слова в древние века, но и то высокое назначение языка, без которого невозможно понять истинный смысл отечественной словесности.

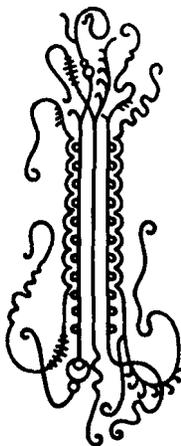
“Хрестоматия” Н.Н. Дурново в настоящем издании содержит также ряд дополнений: книгу открывает краткий очерк о жизни и деятельности ученого; дается перечень работ современных исследователей о Н.Н. Дурново; на обложке воспроизведены копии трудов ученого и его автографы.

В заключение необходимо еще раз отметить: переиздание “Хрестоматии” Н.Н. Дурново – это, несомненно, большой вклад в филологическое и методическое обеспечение преподавания историко-лингвистических дисциплин.

М.П. Егорьева,

кандидат филологических наук

Челябинск



Противостояние и “противосидение”

ЭР. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

23 декабря 2000 г. в “Известиях” очередной обзор теленедели был озаглавлен Юрием Богомоловым одним словом: “Противосидение”. А в самом обзоре читаем: «После почти единодушного голосования на Совете Федерации произошло учебное прослушивание музыки Александра. И тут же последовало учебное вставание. А также учебное невставание Николая Федорова. ...Учебное противостояние, вернее “противосидение”, оказалось наглядным и имело цифровое выражение – один против ста сорока четырех».

Противосидения нет в языке. Это не языковое, а речевое слово (окказиональное). Оно было образовано по аналогии с *противостоянием*. Но если *противостояние* – отглагольное существительное (которое давно уже в языке и было образовано от *противостоять*), то *противосидение* создано так называемым чересступенным способом (пропущена глагольная ступень). Порой такой способ словообразования используется для создания каламбура, а то и выражения иронии или сарказма, как, например, созданное в 60-е годы прошлого века Б. Агаповым слово *отъеготина* по аналогии с *отсебятина* (последнее возникло в среде живописцев в первой половине XIX в. от словосочетания *от себя*, которым называли работу художника без натурщика и натуры). *Отъеготина*, возвращая слову *отсебятина*

(через оживление его внутренней формы) первичное значение и не отменяя вторичного, отвлеченного, совмещала в себе прямое и переносное значения (Б. Агапов, имея в виду третирование Сталиным некоторых направлений искусства как отсебятины, заметил: “как будто лучше была отъеготина”).

Ю. Богомолов “вынул” из *противостояния стояние*, вставив *сидение*. При этом вернул *противостоянию* устаревшее значение (“стоять напротив кого–чего–н”). Толковый словарь под ред. Д.Н. Ушакова), оживив внутреннюю форму слова. Однако в этом контексте у *противостояния* сохранилось и другое значение: “Быть противопоставленным, противопоставляться” (ТСУ), “Быть противопоставленным друг другу, находиться в противоречии друг с другом” (Большой толковый словарь русского языка).

Противосидение тоже двузначно, во-первых, это сидение, во-вторых, протестное невставание, противопоставленное вставанию других в это же время.

Возникла антонимическая пара *противостояние – противосидение* (ср. *согласие – несогласие*), состоящая из языкового и окказионального слов. Их смыслы противоположны: “согласное с чем-то стояние (как результат вставания)” и “протестное, несогласное с чем-то сидение (при альтернативном вставании с переходом в стояние)”.

От окказионального *противосидения* способом обратного словообразования (ср. появление сперва слова *зонтик*, а от него уже – *зонт*) можно произвести глагол *противосидеть*. *Противосидел* депутат Госдумы Шандыбин, когда исполняли гимн на музыку Глинки. *Противосидело* немало депутатов, когда большинство Думы стояло, чтя память жертв холокоста. *Противосидят* по разным поводам и причинам, сообразуясь со своими убеждениями. Это дело совести каждого. Кажется, первым *противосидящим* был светлой памяти А.Д. Сахаров.

**Тематический указатель статей,
опубликованных в журнале
“Русская речь” в 2002 году**

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамянц А. Звездные руны Ивана Бунина	2
Баладина Н.В. Молчит ли автор о сущности бытия?	3
Барсукова О.М. Мотив стихии в прозе И.С. Тургенева	4
Барсукова О.М. Мотив тумана в прозе Тургенева	3
Барсукова О.М. Образ водного пространства в произведениях И.С. Тургенева	5
Барсукова О.М. Образ птицы в прозе И.С. Тургенева	2
Белоцин А.М. “И чувства жар, и мыслей свет...” О (лирике А.И. Одоевского)	6
Белоцин А.М. “Протекших дней очарованья” (О поэтике роман- сов А.А. Дельвига)	4
Бельская Л.Л. “Ах, как много на свете кошек...”	6
Белякова С.М. Пространство и время в поэзии В. Высоцкого	1
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Пушкинский Молок и ветхоза- ветный Молох	3
Воропаев В.А. Мертвые души: кто они? (О названии поэмы Н.В. Гоголя)	3
Воропаев В.А. “На зеркало неча пенять...” (Смысл эпитафия и “немой сцены” в комедии Н.В. Гоголя “Ревизор”)	6
Грачева И.В. Жемчуг в русской литературе	3
Грек А.Г. “Каникула” Вяч. Иванова	4
Громов-Колли А.В. Путевая проза русских писателей первой трети XX века	5
Долгушев В.Г. Комическое в романе “Евгений Онегин”	3
Иванова И.А. Метафорические ряды в романе “Мы” Е. Замятина	5
Лекманов О.А. В. Маяковский: поэт и публика	4
Матвеев Б.И. Античные образы в произведениях Н.В. Гоголя	2
Матвеев Б.И. Античные образы в произведениях М.Е. Салтыко- ва-Щедрин	4
Михайлов М.Н., Михайлова Н.В. Глаза в литературе XX века	1
Молчанова С.В. Профессиональная тайна Сарафанова	4
Молчанова С.В. Слово “тайнство” и тайнство слова	3
Попова Е.А. “Говорить и думать в тоне героев...”	1
Попова Е.А. От первого лица (Сказ у Н.С. Лескова)	5
Рудзиевская С.В. Сводные тетради и письма М. Цветаевой	5
Савельева В.В. “Чайка” Б. Акунина – “чисто английское убийство”	6
Савина Л.Н. Автор и герой в повести “Детство Тёмы”	1

Серафимова В.Д. Метафорический язык произведений В.С. Макарина	2
Серафимова В.Д. Слово в художественном мире Валентина Распутина	6
Суханова И.А. Кармадон альтиста Данилова и Черт Ивана Карамазова	6
Фролова О.Е. Предвиденное и непредвиденное в романе М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”	2
Чупашева О.М. “Легче держать вожжи, чем бразды правления” (О грамматической форме афоризмов Козьмы Пруткова)	2
Яворская А.Н. “Окно, горящее в ночи” (О поэтическом языке Ю.Д. Левитанского)	1

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

Сковородников А.П. О системном описании понятия “стилистическая фигура”	4
Сковородников А.П. Полисиндетон как стилистическая фигура ...	6

РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРЕ

Замир Тарланов. Русский язык – фактор сплочения России	6
---	---

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Бешенкова Е.В. <i>НЕ...</i> – слитно или раздельно?	4, 6
Воротников Ю.Л. “Зюмо-зюмо некузявые бутявки”	1
Воротников Ю.Л. И еще раз о <i>властях предержащих</i>	4
Емельянова О.Н. Стилистические пометы в толковых словарях ..	5
Зеленин А.В. <i>Богоискательство, богостроительство</i>	3
Изюмская С.С. В.Г. Белинский об иноязычной лексике	1
Красных В.И. <i>Водный – водяной – водянистый</i>	6
Красных В.И. <i>Двойной – двойственный – двоякий</i>	2
Красных В.И. <i>Действенный – действительный – действующий</i> .	1
Красных В.И. <i>Дружеский – дружественный – дружный</i>	4
Красных В.И. <i>Массивный – массивованный – массивовый</i>	3
Лейчик В.М. <i>Пиар</i> и другие аббревиатуры	5
Панова М.Н. Этика речевого общения на государственной службе	5
Черникова Н.В. Переориентированная лексика	2
Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале	1, 2, 3

ЯЗЫК ПРЕССЫ

Дамм Т.И. Комические афоризмы в современной газете	5
Клушина Н.И. Имя собственное на газетной полосе	1
Муравьева Н.В. В свободном полете воображения (О “хороших” и “плохих” сравнениях и метафорах)	3

Язык рекламы

Клушина Н.И. “Увещательная коммуникация” в СМИ	6
Магеррамов И.А. О парадоксе в рекламе	2
Сложеникина Ю.В. Что-то новенькое в грамматике? Или в лексике?	5

Речевой этикет

Чжан Лили. Общение врача с больным с точки зрения риторики	6
---	---

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

Измаил Иванович Срезневский (1812–1880).	3
Илья Федорович Тимковский (1772–1853)	5
Петр Алексеевич Алексеев (1727–1801)	6
Рубен Иванович Аванесов (1902–1982)	2
Яков Карлович Грот (1812–1893).	6

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

Ауссем И.А. К 200-летию “ <i>Вестника Европы</i> ”. От Карамзина до Каченовского	1
Балакай А.Г. <i>Ваше здоровье!</i> (Особенности русского речевого этикета)	3
Берсенева М.С. Путешествие по православному календарю с Иваном Шмелевым: Рождество	1
Пасха	2
Голицын А.А. От “ <i>Службных перемен</i> ” до “ <i>Живой покойницы</i> ” (Газетные заголовки в провинции начала XX века)	4
Голованевский А.Л. <i>Провокаторы и провокации</i> в жизни и словарях.	5
Державин А.М. Дмитрий Ростовский	1
Державина Е.И. Митрополит Гавриил – вице-президент Российской Академии	3
Державина Е.И. Солдатский сын – Петр Иноходцев	6
Калугин В.В. “Книга святого Августина” и дворцовые перевороты Петровской эпохи	3
Качалкин А.Н. Имя русского документа	1
Качалкин А.Н. Названия допетровских деловых текстов	2
Качалкин А.Н. Семантика слова в названиях документов	4
Качалкин А.Н. Сокращенные названия документов	4
Качалкин А.Н. Простые, составные названия и ключевые слова в документах.	6
Никитин О.В. Предсказание И.Я. Корейши Ф.И. Буслаеву	3
Судаков Г.В. Епископ Игнатий – духовный писатель XIX века	4
Трофимова Н.В. Летописи XV–XVI веков о походе Игоря	4

Ужанков А.Н. Когда было написано “Житие Феодосия Печерского”?	1
Шацкая М.Ф. <i>Нота, ультиматум, санкции</i>	3
<i>Из истории политического лексикона XX века</i>	
Зеленин А.В. Русь, Россия, СССР в эмигрантской публицистике	5
Зеленин А.В. Соколы, витязи и мушкетеры	6

ОНОМАСТИКА

Королева И.А. Из истории термина <i>имя</i>	1
Королева И.А. Из истории термина <i>отчество</i>	2
Королева И.А. Из истории термина <i>прозвище</i>	3
Маршева Л.И. Как их по-уличному зовут?	3
Чайкина Ю.И. Почему у русских исчезло второе личное имя?	3

Топонимика

Антонов В.А. Слово о <i>Собинке</i>	4
Бойцов О.Н. <i>Городец, Слобода, Сельцо, Починок</i>	2
Гордова Ю.Ю. Брусна и Каменка	1
Михайлова Л.В. Библейские названия в топонимии Валаама	5
Шилов А.Л. Битца и Гвоздянка	6

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА. ПИСАТЕЛЬ И ФОЛЬКЛОР

Бобунова М.А., Климас И.С. “Позову я в гости гостя...”	1
Воропаев В.А. Пословицы и притчи в “Мертвых душах” Н.В. Гоголя	2
Дмитриева Т.Г. Эмоции в народной волшебной сказке	6
Медриш Д.Н. Народно-поэтические мотивы в стихотворении “Зимнее утро” А.С. Пушкина	1
Савенкова Л.Б. “Всякая невеста для своего жениха родится”	4
Тарланов З.К. Именник русских былин	3
Тихомирова О.Ю. Былина о Дунае: образ невесты-богатырши	5

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Анищенко О.А. Книга скорби – скрижали Иуды... кондуит	4
Арапова Н.С. <i>Эмаль и смальта</i>	4
Баранова Л.А. Как дыня превратилась в арбуз и тыкву, а тыква в кабачок	5
Бобровская Г.В. Будь здоров! Здорово живешь!	1
Воротников Ю.Л. Качество, естество	5
Добродомов И.Г. Кондуитный список – кондуит	4
Долгушев В.Г. Анисовка и Ерофеич (Об одном этимологическом мифе)	2
Журавлев А.Ф. Об этимологии русского <i>детинец</i> – “крепость”	1
Зеленин А.В. <i>Адские машины, боевики и террористы</i>	4

Ипполитова Л.В. <i>Гренадер и мушкетёр: коллеги с разными судьбами</i>	6
Ипполитова Л.В. <i>Ухажёр</i>	3
Митин В.В. <i>Какой мизинец нельзя было украсить перстнем?</i>	2
Серебряная И.Б. <i>Хозяин</i>	6
Суслова И.П. <i>Халява, халявщик</i>	6
Шустов А.Н. <i>У истоков телевидения</i>	2

Читая В.И. Даля

Игнатенко О.Н. <i>Фразеологизмы в “Толковом словаре живого великорусского языка”</i>	3
Носкова З.А. <i>В валеитиновом халате с парламентаром на шее</i>	3

За знакомой строккой

Арапова Н.С. <i>Магический кристалл</i>	2
Чулкина Н.Л. <i>Русская дача от Чехова до наших дней</i>	5

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

Зданкевич В.Г. <i>О и Ё после шипящих. Запятая при однородных членах с союзами</i>	5
Зданкевич В.Г. <i>Паузы и знаки препинания</i>	1
Зданкевич В.Г. <i>Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов</i>	2
Зданкевич В.Г. <i>Разноструктурные предложения</i>	3
Ситникова Е.В. <i>Категория состояния</i>	6

СРЕДИ КНИГ

А. Вежбицкая. <i>Понимание культур через посредство ключевых слов</i>	4
Ю.Л. Воротников. <i>Степени качества в современном русском языке</i>	2
Л.К. Граудина, Г.И. Кочеткова. <i>Русская риторика</i>	5
Н.Н. Дурново. <i>Хрестоматия по истории русского языка</i>	6
С.И. Карцевский. <i>Из лингвистического наследия</i>	5
К переизданию Словаря Академии Российской (1789–1794)	3
Хорошая речь	2

ХРОНИКА

Русский язык на рубеже тысячелетий	3
---	---

ПОЧТА “РУССКОЙ РЕЧИ”

Богомолова О.В. <i>Низкий стиль политического языка</i>	2
Головина Э.Д. <i>Как монстры заменили мастодонтов</i>	1
Еськова Н.А. <i>Кто восклицает “Царствуй, лежа на боку!”?</i>	2
Лейчик В.М. <i>Евро в русской речи</i>	4
Трофимова Г.Н. <i>Русская речь в Интернете</i>	1
Хан-Пира Эр. <i>Живы ли слова объёмистый и комфортабельный?</i>	4
Хан-Пира Эр. <i>Многозначное слово и многозначное число</i>	5
Хан-Пира Эр. <i>Противостояние и “противосидение”</i>	6